

# Одиночество в Сети

**Автор:**

Януш Вишневский

Одиночество в Сети

Януш Леон Вишневский

Она живет в Польше, он – в Германии. Однажды они случайно встретятся на просторах Сети. И начнется долгая онлайн-переписка, которая перерастет в их страстное влечение друг к другу. «Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви». Но была ли это любовь?..

Главный польский бестселлер начала XXI века, самый знаменитый и самый неоднозначный роман Януша Вишневского «Одиночество в Сети» – это история запретной и оттого такой желанной любви в письмах и, конечно, о глубоком одиночестве по ту сторону компьютерного экрана.

Януш Вишневский

Одиночество в Сети

Janusz Leon Wisniewski

SAMOTNOSC W SIECI

© Copyright by Janusz Leon Wisniewski

© Wydawnictwo Literackie, ul. Długa 1, Cracow, Poland

© Цывьян Л.М., наследники, перевод, 2017

© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2017

\* \* \*

Из всего, что вечно,

самый краткий срок у любви...

@1

Девятью месяцами ранее...

С одиннадцатой платформы при четвертом пути железнодорожной станции Берлин-Лихтенберг бросается под поезд больше всего самоубийц. Так официально утверждают неизменно скрупулезные немецкие статистики на основании обследования всех вокзалов Берлина. Это, кстати сказать, заметно, если ты сидишь на скамейке на одиннадцатой платформе при четвертом пути. Рельсы там блестят куда сильнее, чем около других платформ. От часто повторяющегося аварийного торможения рельсы очень здорово шлифуются. Кроме того, шпалы, как правило темно-серые и грязноватые, в некоторых местах вдоль одиннадцатой платформы выглядят куда светлей, чем обычно, а кое-где они почти белые. Это потому что там использовались сильные детергенты, чтобы смыть кровь, что осталась после разорванных на части под колесами локомотива и вагонов тел самоубийц.

Лихтенберг – одна из самых последних железнодорожных станций Берлина и к тому же самая запущенная. У человека, лишаящего себя жизни на станции Берлин-Лихтенберг, впечатление, будто он уходит из серого, грязного, провонявшего мочой мира, где на стенах облупилась штукатурка, где полно

торопящихся унылых, а то и отчаявшихся людей. Покидать навсегда такой мир куда легче.

На одиннадцатую платформу поднимаются по каменным ступеням через последний выход туннеля между кассовым залом и трансформаторной. Четвертый путь – последний на этой станции. И если человек в кассовом зале станции Берлин-Лихтенберг решает покончить с собой, то, отправляясь на одиннадцатую платформу четвертого пути, он пусть ненадолго, но продлевает себе жизнь. Поэтому самоубийцы почти всегда выбирают четвертый путь, одиннадцатую платформу.

На платформе при четвертом пути есть две деревянные скамейки, все в граффити и изрезанные ножами; к бетонным плитам платформы они крепятся огромными болтами. На скамейке ближе к выходу из туннеля сидел исхудалый мужчина, от которого воняло потом, мочой, давно не мытым телом. Уже много лет он жил на улице. Он дрожал – от холода и страха. Сидел он, неестественно развернув ступни, руки держал в карманах рваной и усеянной пятнами куртки из синтетики, которая в нескольких местах была заклеена желтым скотчем с синей надписью «Just do it». Мужчина курил. Рядом с ним на скамейке стояли несколько банок из-под пива и пустая водочная бутылка. А возле скамейки в фиолетовом пластиковом мешке с рекламой сети магазинов «Альди», желтая краска которой давно уже стерлась, находилось все его имущество. Прожженный в нескольких местах спальный мешок, пяток шприцев, банка для табака, пачки папиросной бумаги, альбом фотографий с похорон сына, консервный нож, коробка спичек, две пачки метадона, книжка Ремарка в пятнах кофе и крови, старый кожаный бумажник с пожелтевшими порванными и вновь склеенными фотографиями молодой женщины, дипломом об окончании института и свидетельство о том, что податель сего не привлекался к уголовной ответственности. В тот вечер к одной из фотографий молодой женщины мужчина скрепкой присоединил письмо и купюру в сто марок.

Сейчас он ждал поезда, идущего с вокзала Берлин-ЦОО до Ангермюнде. В ноль двенадцать. Скорый поезд с обязательным бронированием мест и вагоном «Митропы» среди вагонов первого класса. Он никогда не останавливается на станции Лихтенберг. Стремительно проносится по четвертому пути и исчезает в темноте. В поезде более двадцати вагонов. А летом так еще больше. Мужчина уже давно знал об этом. Он не первый раз приходит к этому поезду.

Мужчина боялся. Однако сегодняшний страх был совершенно другим. Универсальный, повсеместно известный, названный и основательнейшим образом исследованный. И мужчина ясно знал, чего он боится. Ведь хуже всего страх перед тем, что невозможно назвать. От страха без названия не помогает даже шприц.

Сегодня мужчина пришел на эту станцию в последний раз. Потом он уже никогда не будет одинок. Никогда. Нет ничего хуже одиночества. Дожидаясь поезда, мужчина был спокоен, он примирился с собой. Он испытывал чуть ли не радость.

На второй скамейке – за киоском с газетами и напитками – сидел еще один мужчина. Трудно сказать, какого он был возраста. Лет тридцать семь – сорок. Загорелый, пахнувший дорогим одеколоном, в черном пиджаке из хорошей шерсти, в светлых брюках, в расстегнутой на две пуговицы оливкового цвета рубашке с зеленым галстуком. Рядом со скамейкой он поставил металлический чемодан с наклейками авиалиний. Включил компьютер, который вынул из кожаной сумки, но тут же снял с колен и положил рядом с собой на скамейку. Экран компьютера мерцал в темноте. Минутная стрелка часов над платформой перепрыгнула за двенадцать. Начиналось воскресенье 30 апреля. Мужчина спрятал лицо в ладони. Закрыв глаза. Он плакал.

Мужчина со скамейки близ выхода из туннеля встал. Залез в пластиковый мешок. Удостоверился, что письмо и купюра по-прежнему в бумажнике, взял черную банку пива и двинулся к концу платформы, туда, где стоит семафор. Он давно уже присмотрел это место. Миновав киоск с напитками, он увидел второго мужчину. Нет, он не предполагал в полночь встретить кого-нибудь на одиннадцатой платформе. Всегда он был тут один. Его охватила тревога, отличная от страха. Присутствие второго человека нарушало весь план. Он ни с кем не хотел встречаться по дороге к концу платформы. К концу платформы... Это будет действительно конец.

И внезапно он почувствовал, что хочет попроситься с этим человеком. Он подошел к скамейке. Отодвинул компьютер и сел рядом.

– Приятель, выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток? Выпьешь? – спросил он, тронув этого человека за бедро и протягивая ему банку.

ОН: Минула полночь. Он опустил голову и почувствовал, что не может сдержать слезы. Уже давно он не ощущал себя таким одиноким. Это все из-за дня рождения. В последние годы при бешеном темпе его жизни он редко испытывал чувство одиночества. Одиноким бываешь только тогда, когда на это есть время. А времени у него не было. Он постарался так организовать свою жизнь, чтобы не иметь свободного времени. Проекты в Мюнхене и Штатах, защита диссертации и лекции в Польше, научные конференции, публикации. Нет, в последнее время в его биографии не было перерывов на мысли об одиночестве, на чувствительность и слабость вроде той, что напала на него здесь. Обреченный на бездействие на этом сером безлюдном вокзале, он не мог ничем заняться, чтобы забыть, и одиночество напало на него, как приступ астмы. Его присутствие здесь и этот незапланированный перерыв – всего лишь ошибка. Обыкновенная, банальная, бессмысленная ошибка. Как опечатка. Перед приземлением в Берлине он смотрел в Интернете расписание поездов и не обратил внимания, что со станции Лихтенберг поезда на Варшаву ходят только в будние дни. А всего минуту назад закончилась суббота. Впрочем, ошибка его была вполне объяснима. Происходило это утром после нескольких часов полета из Сиэтла, полета, завершавшего неделю напряженной работы без минуты отдыха.

День рождения в полночь на вокзале Берлин-Лихтенберг. Абсурдней ничего быть не может. Уж не оказался ли он тут с какой-нибудь миссией? Это место могло бы быть декорацией фильма, но обязательно черно-белого, о бессмысленности, серости и мучительности жизни. Он ничуть не сомневался, что Воячек[1 - Воячек Рафал (1945–1971) – польский поэт. Его катастрофическая поэзия, в которой он экспрессионистскими средствами выражает трагическое неслияние человека и мира, болезненную замороженность смертью и сексом, а также самоубийство в возрасте 26 лет сделали его культовой фигурой уже для нескольких поколений молодых поляков. (Здесь и далее прим. пер.)] здесь и в такую минуту написал бы свое самое мрачное стихотворение.

День рождения. А как он родился? Как это было? И очень ли ей было больно? Что она думала, когда ей было так больно? Он ни разу не спросил ее. Почему не спросил? Ведь это было так просто: «Мама, а тебе очень было больно, когда ты меня рожала?»

Сейчас он хотел бы это знать, но тогда, когда она была жива, ему ни разу не пришло в голову спросить.

А сейчас ее нет. И других тоже. Все те, кто для него был дороже всего, кого он любил, умерли. Родители, Наталья... У него никого нет. Никого, кто был для него необходим. Остались только проекты, конференции, сроки, деньги да порой признание. А кто вообще помнит, что у него сегодня день рождения? Для кого это имеет хоть мало-мальское значение? Кто это заметит? Да существует ли кто-то, кто подумает о нем сегодня? И тут-то подступили слезы, которые он не смог сдержать.

Вдруг он почувствовал, что кто-то его толкает.

– Приятель, выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток. Выпьешь? – услышал он хриплый голос.

Он поднял голову. С исхудалого, заросшего, покрытого струпьями лица на него умоляюще смотрели глубоко запавшие, налитые кровью, испуганные глаза. В вытянутой дрожащей руке сидящего рядом обладателя этих глаз была банка пива. И вдруг нежданный сосед увидел в его глазах слезы.

– Послушай, приятель, я не хотел тебе мешать. Нет, правда, не хотел. Я тоже не люблю, когда кто-нибудь лезет ко мне, когда я плачу. Плакать надо, когда никто не мешает. Только тогда от этого получаешь радость.

Но владелец компьютера не позволил ему уйти, схватив за куртку. Он взял у него банку и сказал:

– Ты мне не мешаешь. Ты даже не представляешь себе, как мне хочется с тобой выпить. Несколько минут назад начался мой день рождения. Не уходи. Меня зовут Якуб.

И неожиданно Якуб сделал то, что в этот момент представлялось ему самым естественным и чему он не мог противиться. Он обнял подсевшего к нему мужчину и прижал к себе. Положил голову на плечо в драной синтетической куртке. Они оба замерли на краткий миг, чувствуя, что между ними совершается нечто важное и высокое. И тут тишину нарушил поезд, с грохотом промчавшийся мимо скамейки, на которой они сидели, приникнув друг к другу. Якуб сжался, как испуганный ребенок, прильнул к соседу и что-то произнес, но слова его заглушил стук колес проносящегося поезда. Уже через миг он ощутил стыд. Второй, видимо, тоже ощутил что-то подобное, так как вдруг резко отпрянул,

молча встал и пошел в сторону входа в туннель. Возле одной из металлических урн он остановился, достал из пластикового мешка листок бумаги, смял и выбросил. Через минуту он исчез в туннеле.

– С днем рождения, Якуб! – громко произнес сидящий, выпив последний глоток пива из банки, оставленной ушедшим возле компьютера.

То была всего лишь минутная слабость. Приступ сердечной аритмии, который уже прошел. Он полез в сумку за сотовым телефоном. Достал берлинскую газету, купленную утром, нашел номер службы такси. Набрал его. Уложил ноутбук и, волоча за собой чемодан, колесики которого с шумом подскакивали на выбоинах платформы, зашагал к туннелю, ведущему в кассовый зал и к выходу в город.

Как это?.. Как он сказал?.. «Плакать надо, когда никто не мешает. Только тогда от этого получаешь радость».

ОНА: Уже давно ни один мужчина так не старался, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она чувствовала себя привлекательной, а в бокале у нее были самые лучшие напитки.

– Никто не станет спорить, что у Золушки было исключительно печальное детство. Злые сводные сестры, непосильная работа и жуткая мачеха. Мало того что бедняжке приходилось травиться, извлекая золу из поддувала, так вдобавок у нее не было даже канала MTV, – говорил, заливаясь смехом, мужчина, сидящий рядом с ней у стойки бара.

Он был моложе ее на несколько лет. Ему явно не больше двадцати пяти. Красивый. Элегантен до совершенства. Давно уже ей не доводилось видеть мужчину, одетого так гармонично. Вот именно, гармонично. Он был изыскан, как его сшитые по мерке костюмы. Все в нем соответствовало друг другу. Запах одеколона подходил к цвету галстука, цвет галстука – к цвету камней в золотых запонках в манжетах безукоризненно голубой рубашки. Золотые запонки в манжетах – кто вообще в наше время еще носит запонки? – размером и оттенком золота соответствовали золотым часам на запястье правой руки. А часы подходили к поре дня. Сейчас, вечером, на свидание с ней в баре гостиницы он надел элегантные прямоугольные часы с изящным кожаным ремешком в цвет

костюма. Утром на собрании в берлинской резиденции их фирмы у него на руке был тяжелый, почтенный «Ролекс». И пахло от него тоже иначе. Она это точно знает, потому что намеренно встала со своего места и наклонилась над его головой, чтобы взять бутылку минералки, хотя поднос с точно такими же бутылками стоял и перед ней.

Всю первую половину дня она присматривалась к нему. Его звали Жан, и был он бельгиец, «из абсолютно французской части Бельгии», как он сам подчеркнул. Она не знала, чем французская часть Бельгии так уж отличается от фламандской, но решила, что происходить из французской, очевидно, почетнее.

Как потом выяснилось, Жан не только для нее был самым притягательным элементом этого цирка в Берлине. Их собрали со всей Европы в берлинскую штаб-квартиру их фирмы, чтобы сказать, что руководству сказать им в общем-то нечего. Уже год она вместе с их бельгийским отделением занималась проектом, который в Польше не мог иметь успеха. Устройства, которые фирма хотела продавать, просто-напросто не подходили для польского рынка. Трудно продавать эскимосам крем для загара. Даже если это крем самого высшего качества.

Она вообще не хотела сюда приезжать и делала все, чтобы переложить эту поездку на кого-нибудь другого из их отдела. Они с мужем давно уже планировали съездить в Карконоше и заглянуть в Прагу. Не удалось. По недвусмысленному указанию из Берлина ехать пришлось ей. Вдобавок поездом, потому что, чтобы поездка эта имела хоть какой-то смысл, ей пришлось провести день в филиале их фирмы в Познани.

По пути из Варшавы в Берлин – она терпеть не могла ездить в поездах – у нее было достаточно времени, чтобы разработать стратегию, которая заставила бы центральное отделение отказаться от этого проекта. Однако Жан, тот самый бельгиец с запонками, соответствующими, надо думать, погоде, убедил всех, что «рынок в Польше сам еще не знает, что нуждается в этих устройствах» и что у него «есть гениально простая идея, как сделать, чтобы польский рынок об этом узнал». После чего на фоне тщательно изготовленных цветных слайдов он целый час излагал свою «гениально простую идею».

Мало того что она все это могла бы рассказать за пятнадцать минут и к тому же на куда лучшем английском, вдобавок на его слайдах ничего – кроме карты Польши – не соответствовало действительности. Но это не произвело ни на кого,

за исключением ее, особенного впечатления. Было ясно, что директриса из Берлина приняла решение еще до презентации. Она тоже приняла решение, и тоже до презентации. Но проблема заключалась в том, что это были диаметрально противоположные решения. Но как директриса могла согласиться с ней? Разве такой обаятельный и красивый мужчина, говорящий по-английски с таким очаровательным французским акцентом, мог ошибаться? Директриса смотрела на бельгийца, несущего чушь на фоне цветных фантазий, как на красавца стриптизера, который вот-вот начнет раздеваться. Тяжелый случай менопаузы. Что ж, искушение, по мнению директрисы, видимо, стоило того, чтобы рискнуть деньгами акционеров. Ну а кроме того, всегда ведь можно убедить эскимосов, что во время долгой полярной ночи они тоже загорают. Под космическими лучами. И кремы им будут очень полезны.

После Жана выступала она. Директриса даже не стала дожидаться конца презентации. Вышла, вызванная по телефону секретаршей. Благодаря этому все поняли, что ее слушать нет смысла. Все, как по команде, склонились над клавиатурой своих ноутбуков и занялись Интернетом. В сущности, она могла бы декламировать стихи или рассказывать по-польски анекдоты – никто бы этого не заметил. И лишь бельгиец, когда она закончила свое сообщение, подошел к ней и с обезоруживающей улыбкой произнес:

– Мадам, вы самый очаровательный инженер, какого я знаю. Пусть вы даже не правы, но я все равно слушал все, что вы говорили, затаив дыхание и самым внимательным образом.

Когда же она полезла в сумку, чтобы продемонстрировать ему свои расчеты, он предложил:

– Не могли бы вы убедить меня в своей правоте сегодня вечером в баре нашего отеля? Скажем, в двадцать два часа?

Она согласилась без малейших колебаний. Даже не пыталась затруднять ситуацию наскоро придуманным мелким враньем насчет того, как занята она вечером. Все официальные мероприятия, которые могли происходить по вечерам, уже произошли. Поезд на Варшаву отходил завтра около двенадцати. Ну и потом, ей хотелось хоть раз побыть с бельгийцем в отсутствие их берлинской директрисы.

И сейчас в гостиничном баре она тихо радовалась, что утром не слишком запальчиво протестовала против этого проекта. Бельгиец был поистине очарователен. Похоже было, что он часто бывает в этом отеле. С барменом он разговаривал по-французски – сеть отелей «Меркюр», в которых фирма традиционно бронировала для них номера, принадлежит французам, по каковой причине весь персонал и говорит на французском, – и очень смахивало на то, что они находятся в приятельских отношениях.

Теперь, когда проект продлили на следующий год, у нее будет возможность встречаться с бельгийцем гораздо чаще. Он ей нравился. Она думала об этом, глядя на него, пока он заказывал очередной напиток. А когда бармен подал им бокалы с налитым в них чем-то, имеющим необыкновенный пастельный цвет и экзотическое французское название, бельгиец придвинулся лицом к ее лицу.

– Уже давно я не начинал воскресенья с таким очаровательным существом. Только что пробило полночь. Уже тридцатое апреля, – сказал он, после чего легонько дотронулся своим бокалом, словно чокаясь, до ее руки, а губами нежно прикоснулся к ее волосам.

Это было как электрический удар. Уже давно она не ощущала такого любопытства, что же произойдет дальше. Должна ли она позволять ему прикасаться губами к своим волосам? Имеет ли она право испытывать подобное любопытство? Что бы ей хотелось, чтобы произошло дальше? У нее есть красивый муж, объект зависти всех ее сотрудниц. Как далеко она может пойти, чтобы ощутить нечто большее, нежели этот давно забытый трепет, когда мужчина вновь и вновь целует твои волосы и закрывает при этом глаза? Муж давно уже не целовал ее волосы, и вообще он... такой чудовищно предсказуемый.

В последнее время она очень часто думала об этом. И обычно с тревогой. Нет, не то чтобы все стало обыденным. Вовсе не так. Но исчезла та движущая сила. Развеялась где-то в будничности. Все остыло. Разогревалось только иногда, на минутку. В первую ночь по возвращении его или ее из дальней поездки, после слез и ссоры, которую они решали закончить в постели, после выпитого или каких-нибудь благовонных листьев, которые жгли на приемах, в отпуске на чужих кроватях, на чужом полу, в чужих стенах или в чужих машинах.

Это было постоянно. Лучше сказать, бывало. Но без былого неистовства. Без той мистической тантры, что была вначале. Без той ненасытности. Того голода,

который приводил к тому, что стоило только подумать об этом, и кровь тут же, как ошалелая, с шумом отливала вниз, и мгновенно ты уже мокренькая. Нет! Такого не было уже давно. Ни после вина, ни после листьев, ни на паркинге у автострады, куда он свернул, потому что, когда они возвращались с какого-то приема, она, несмотря на то что вел он очень быстро, вдруг нырнула головой под его руки, державшие руль, – почему-то так подействовала на нее музыка, передававшаяся по радио, – и стала расстегивать ремень у него на брюках.

Наверное, причина в доступности. Все было на расстоянии вытянутой руки. Ни ради чего не надо было стараться. Они уже знали друг у друга каждый волосок, каждый возможный запах, каждый возможный вкус кожи, и влажной, и сухой. Знали все тайные уголки тел, слышали все вздохи, предвидели все реакции и давно уже поверили всем признаниям. Некоторые из них время от времени повторялись. Однако уже не производили впечатления. Они просто входили в сценарий.

В последнее время ей казалось, что секс с нею для мужа был чем-то вроде – как ей вообще могло прийти такое в голову? – католической мессы. Достаточно прийти в костел, ни о чем не думая, а потом неделю можно жить спокойно.

Может, так у всех? Возможно ли неутолимо желать того, кого знаешь уже несколько лет, кого видел, когда он кричит, блюет, храпит, мочится, не смывает после себя в клозете.

А может, это не так уж и важно? Может, необходимо только вначале? Может, хотеть лечь с кем-то в постель не самое важное, может, куда важнее проснуться вместе утром и приготовить друг другу чай?

– Я сделал что-нибудь не то? – Голос Жана вырвал ее из раздумий.

– Еще не знаю, – отвечала она с принужденным смешком. – Прошу прощения, я на минутку вас покину. Скоро вернусь.

В туалете она достала из сумочки губную помаду. Глядясь в зеркало, сказала сама себе:

– Завтра тебя ждет длинная дорога.

И стала подкрашивать губы.

– У тебя, между прочим, есть муж, – добавила она, грозя пальцем своему отражению.

Она вышла из туалета. Проходя мимо портье, услышала, как какой-то мужчина, стоящий к ней спиной, по буквам сообщает свое имя:

– Я-к-у-б...

Из сумочки она вынула свою визитную карточку, обратной, пустой стороной сильно прижала к губам, блестящим от свеженаложенной помады. Положила карточку около своего бокала с недопитым пастельного цвета напитком и сказала:

– Спокойной ночи.

ОН: Таксист, приехавший к опустевшему вокзалу Берлин-Лихтенберг, оказался поляком. Больше тридцати процентов берлинских таксистов – поляки.

– Отвезите меня в отель, обязательно дорогой, где есть бар и который находится недалеко от вокзала Берлин-ЦОО.

– В этом городе это нетрудно, – рассмеялся таксист.

Он зарегистрировался в отеле. Прежде чем отойти от стойки портье, спросил:

– Не были бы вы столь любезны разбудить меня за полтора часа до отхода с вокзала ЦОО первого поезда на Варшаву.

Молодой портье оторвался от каких-то бумаг и непонимающе уставился на него:

– Как это?.. За полтора часа? Какого поезда? В каком точно часу вас разбудить?

Он спокойно ответил:

– Видите ли, я сам точно не знаю. Но вы так впечатляюще пишете в рекламе вашего отеля, – он указал на яркий проспект, лежащий рядом с его паспортом, – что «“Меркюр” – это не только безопасная крыша над головой в путешествии. “Меркюр” – это также само путешествие». Так что будьте добры, позвоните на вокзал, узнайте, когда отходит поезд на Варшаву, и разбудите меня ровно за девяносто минут до его отхода. Я был бы также благодарен вам, если бы вы заказали мне и такси. Я хочу выехать на вокзал за час до отхода поезда.

– Да, да, разумеется, – отвечал смешавшийся портье.

– И разрешите уж мне не идти сразу в номер и оставить багаж у вас. Я хотел бы потратить крупную сумму в баре вашего отеля. Надеюсь, вы последите, чтобы с моим багажом ничего не случилось?

Не дожидаясь ответа, он положил кожаную сумку с ноутбуком на чемодан и направился в сторону двери, из-за которой доносилась музыка.

Из шаровидных репродукторов под потолком наполненного шумом зала лился голос Натали Коул, поющей о любви. Он осмотрелся. У эллиптической стойки был свободен только один табурет. Но когда он подошел туда, его ждало разочарование: на стойке стоял недопитый бокал. Он уже собирался отойти, решив, что место занято, однако молодой мужчина, сидевший на соседнем табурете, обернулся и сказал по-английски:

– К сожалению, это место освободилось. Можете садиться, если желаете, – и с улыбкой добавил: – Место хорошее. Бармен часто подходит сюда.

Он сел и сразу уловил тонкий запах духов. «Ланком»? «Бьяджотти»? Он прикрыл глаза. Нет, пожалуй, «Бьяджотти».

Духи уже давно оказывали на него особенное воздействие. Они как сообщение, которое некто хочет передать. И тут никакой язык не нужен. Можно быть глухонемым, можно принадлежать к другой цивилизации, но сообщение ты все равно поймешь. В духах есть некий иррациональный, таинственный элемент. «Шанель № 5», «Л’эр дю Тан» или «Поэм» подобны стихотворению, которое женщина носит на себе. А некоторые духи безумно эротические, притягивающие. Они заставляют оглянуться, а то и пойти за женщиной, которая

ими душился. Он вспомнил, как два года назад был в Прадо. И вдруг мимо него прошла женщина в черной шляпе, и его мгновенно окружил какой-то мистический аромат. Он тотчас забыл об Эль Греко, Гойе и прочих мастерах и последовал за той женщиной. А сейчас он подумал, что за женщиной, которая сидела тут до него и оставила свой запах, он тоже захотел бы пойти.

Он оперся локтями на стойку и наклонился вперед, чтобы обратить на себя внимание бармена, который якобы часто подходит сюда. И тогда-то он заметил лежащую рядом с бокалом визитную карточку. Контур губ, четко отпечатанный на белом картоне. Нижняя губа явно шире, энергичный изгиб верхней. Прелестные губы. У Натальи были точно такие же. Он поднес визитку к носу. Несомненно, «Бьяджотти»! Эта визитка, должно быть, принадлежала женщине, которая сидела здесь несколько минут назад. Он решил посмотреть, как ее зовут. Но только он перевернул карточку, как услышал:

– Прошу прощения, но эта визитка предназначена мне.

– О, разумеется. Я как раз хотел спросить, не ваша ли это, – соврал он.

Да, он опоздал. И не узнает, кому принадлежала она. Сосед взял визитку, спрятал в карман пиджака, оставил на кофейном блюде чаевые бармену и, не произнеся ни слова, ушел.

– Бутылку хорошо охлажденного «Просекко»<sup>[2 - Знаменитое итальянское белое вино.]</sup>. И сигару. Самую дорогую, какая у вас есть, – заказал он бармену, который в этот момент встал перед ним.

Такие же губы были у его мамы. Но у мамы все было красивое.

И минувший день, и эти несколько часов в определенном смысле принадлежали его матери. И вовсе не потому, что в день своего рождения он думал, как она его рожала.

Он прилетел вчера утром из Сиэтла в Берлин только затем, чтобы наконец увидеть, где родилась его мать. Последние годы ее биография интересовала его, как роман, в нескольких важных главах которого он принимал участие. И теперь ему хотелось узнать самые первые.

Родилась она недалеко от станции Берлин-Лихтенберг в больнице сестер-самаритянок. Дед уехал вместе со своей находящейся на сносях женой в Берлин в надежде, что жить там им будет легче. Как это теперь называется? А, экономическая эмиграция. Да, именно так. Спустя неделю после приезда в Берлин бабушка родила его мать. В больнице самаритянок. Только туда привозили рожениц прямо с улицы. То есть бесплатно. Вчера он был возле этого здания. Сейчас там находится какой-то турецкий экспериментальный театр.

Через три месяца дед и бабушка возвратились в Польшу. Не смогли они жить в Германии. Но то, что они пробыли там всего три месяца, не имеет значения. В свидетельстве о рождении его матери навсегда осталась историческая помета: место рождения – Берлин. Так его мама стала немкой. И благодаря этому у него теперь есть немецкий паспорт и он может летать в Сиэтл без визы. Но он все равно летает с двумя паспортами. Однажды он забыл польский паспорт и чувствовал себя как перемещенное лицо.

Потому что он может быть только поляком.

Кельнер принес голубую бутылку «Просекко», серебристую тубу с кубинской сигарой и маленькую гильотинку. Пока тот открывал бутылку, он закурил сигару. Первый бокал он выпил залпом. Сигара была превосходна. Давно он не курил таких прекрасных сигар. Разве что в Дублине. Много лет назад.

Он не мог перестать думать о вчерашнем походе по прошлому его мамы. Ее немецкость – это не только больница сестер-самаритянок в довоенном Берлине и не только запись в свидетельстве о рождении. Все гораздо сложнее. В точности как ее биография.

Он родился в один из тридцатых апрелей и был третьим ребенком третьего мужа его матери. Это День святого Иакова, то есть Якуба. И все думают, будто потому ему и дали имя Якуб. Но все вовсе не так. Якубом звали второго мужа его матери. Польский артист, который в 1944 году был назначен немцем только потому, что родился на двенадцать километров западней, чем следовало бы, а на Восточном фронте окопы должны были быть заполнены. Тогда истинные германцы делали менее истинными германцами всех подряд. И сразу после этого, разумеется, делали их немецкими солдатами. Солдатами тогда становились почти все. Хромые, душевнобольные, туберкулезники. Все могли и должны были быть в ту пору солдатами. Второй муж его матери об этом не знал. Он не представлял себе дней и ночей без нее. Потому перед медицинской

комиссией он сперва вгонял себя в пот, а потом бегал в парке босиком по снегу – надеялся подхватить туберкулез. Туберкулез он подхватил. Но его все равно погнали в окопы.

После войны его мать и ее второй муж больше не встретились. Не помогла даже их великая любовь. Когда его мать чуть-чуть оправилась от горя и наконец осознала, что война отняла у нее мужа и тут ничего не поделаешь, в ее жизни появился его, Якуба, будущий отец. Исхудавший, до головокружения красивый, стопроцентный поляк, вернувшийся из Штуттхофа. Она с национальностью «немка» и он после трех лет немецкого лагеря. Отец ни разу не дал ему почувствовать, что ненавидит немцев. Хотя он их ненавидел. Интересно, простил бы отец ему, что он поселился в Германии?

Его родители – наилучшее доказательство, что разделение на немцев и поляков всего лишь результат сговора историков, которым удалось убедить целые народы. Впрочем, вся история всего-навсего сговор. Главное, чтобы всех обмануть. Они и сговорились, что именно эту, а не другую ложь будут преподавать в школе.

Ему опять становилось грустно. Хватит на сегодня грусти. Как-никак сегодня у него день рождения. Он вынул бутылку из серебряного ведерка со льдом. Налил себе еще один бокал. Он едет домой.

ОНА: Все места в вагонах первого класса оказались распроданы. Да, она сделала ошибку, не купив обратный билет еще в Варшаве. Кассирша на вокзале Берлин-ЦОО сказала:

– Есть несколько свободных мест во втором классе. Все в купе для курящих. Возьмете?

Перспектива несколько часов ехать в дымной клетке наполнила ее ужасом. Но что оставалось делать?

Она села у окна. Лицом по направлению движения. В купе она была одна. Поезд отправлялся через полчаса. Она вытащила из чемодана книжку и папку с материалами берлинской встречи. Очки. Бутылку минеральной воды. Сотовый телефон. CD-плеер, компакт-диски, запасные батарейки. Сняла туфли,

расстегнула две пуговицы на юбке.

Купе постепенно заполнялось. Громкоговоритель объявил об отправлении поезда, а одно место все еще оставалось пустым. Поезд уже тронулся, когда дверь купе отодвинулась. Она подняла голову от книжки, и их глаза встретились. Она выдержала его взгляд. Это он отвел глаза. В этот миг в нем было что-то от смутившегося мальчика. Чемодан он забросил на полку под потолком. Достал из кожаной сумки ноутбук. Сел на свободное место у двери. Ей казалось, что он смотрит на нее. Она засунула ноги в туфли. Подумала, видит ли он расстегнутые пуговицы на юбке.

Через минуту он встал. Достал из сумки банку диетической кока-колы и три ярких журнала – «Шпигель», «Плейбой» и «Впрост». Положил их себе на колени. Непонятно почему, но когда она поняла, что он поляк, ее это обрадовало.

Он снял пиджак. Закатал рукава темно-серой рубашки. Какой загорелый... Волосы у него были в беспорядке, как будто в купе он примчался прямо из постели. И он был небрит. Рубашка расстегнута. Молодым его не назовешь, скорее моложавым. Как только он вошел, она подумала: «Только бы никто сейчас не закурил». Потому что, войдя, он заполнил все купе ароматом своей туалетной воды. Ей хотелось как можно дольше ощущать этот запах.

Она украдкой поглядывала на него из-под очков. Он читал. Она тоже вернулась к своей книжке. Но в какой-то момент ощутила беспокойство. Она подняла голову. Он смотрел на нее. У него были печальные, усталые серо-зеленые глаза. Пальцы правой руки он прижал к губам и пытливо вглядывался в нее. Ей вдруг стало странно тепло. Она улыбнулась ему.

Он отложил журналы и занялся ноутбуком. Пассажиры в купе с любопытством поглядывали на него. Из кармана пиджака он достал сотовый телефон, после чего наклонился вперед и подключил его к специальному гнезду в задней части компьютера. Возможно, не все в купе понимали, что он собирается делать, но она знала: он подсоединился к Интернету.

Вначале она подумала: все эти его действия с компьютером в купе поезда, только что отошедшего от Берлина, претенциозны, и делает он это напоказ, но потом, наблюдая за тем, как внимательно он всматривается в экран, она решила, что... Нет, в нем нет никакой претенциозности, и он не показушник.

Она незаметно засунула руку под блузку и застегнула пуговицы на юбке. Поправила прическу и села прямой.

ОН: Если на кого и можно рассчитывать в Германии, то только на уборщиц из Хорватии.

Естественно, никто его не разбудил за полтора часа до отхода поезда на Варшаву. Некому было даже сказать, что это позор для отеля, где дерут по триста долларов за ночь. Ночного портье давно уже не было за стойкой, а что до сменившей его блондинки, то, судя по ее виду, она и знать не знала, где на карте находится Варшава.

Разбудила его уборщица, которая, думая, что номер пустой, вошла, когда он еще спал, чтобы произвести уборку. Он не знал, в котором часу отходит поезд до Варшавы, но когда увидел, что уже без пяти одиннадцать, понял, что времени у него в обрез.

Не обращая внимания на все еще стоящую в номере уборщицу, он голый с криком «О курва мать!» выскочил из постели и в бешеном темпе стал одеваться. Поскольку уборщица была из Хорватии, смысл выражения «курва мать» для нее не был тайной, и пока он сметал все, что было на полочке в ванной, в несессер, она паковала в его чемодан все, что лежало на ночном столике и у телевизора. Через несколько минут он вылетел из номера. Подчиняясь первому импульсу, подбежал к стойке регистрации, однако того портье, к счастью, уже не было. Когда же он сориентировался, что блондинка за стойкой представления ни о чем не имеет, то даже не заплатил. У них есть номер его кредитной карточки. Кроме того, в поезде он сможет войти в Интернет и расплатиться. Карточка «Американ Экспресс», которую он получил от фирмы, позволяет это сделать.

Перед отелем стояла вереница такси. Водитель вошел в положение и за десять минут довез до вокзала. Билета он не купил. Пробежал на перрон и вскочил в вагон, стоявший прямо напротив выхода из туннеля. Удалось. Поезд тронулся. Он открыл дверь первого же купе.

Она сидела у окна. На коленях книжка. Губы у нее были как те, отпечатанные на обороте визитной карточки. Волосы, сколотые на затылке. Высокий лоб. Она была красива.

Он занял единственное свободное место. Он был безбилетник. Неважно. Эту проблему он разрешит, когда придет кондуктор. В карточке, висящей на двери вагона, он прочитал, что место зарезервировано за пассажиром, который сядет во Франкфурте-на-Одере.

Он достал газеты. В гостиничном киоске польская пресса тоже продавалась! То, что «Выборчу» можно спокойно купить наряду с французскими, американскими, итальянскими и английскими газетами в гостиничном киоске в центре Берлина, в тысячу раз важней, чем все заявления о «готовности Польши к вхождению в Европу».

В какой-то момент он не выдержал. Поднял глаза над газетой и стал разглядывать ее. Кроме помады на губах, на ней не было никакой косметики. Она читала, время от времени притрагиваясь пальцами к уху. Руки у нее были замечательно красивые. Когда она переворачивала страницу, казалось, будто она ласково лишь чуть касается ее длинными пальцами.

Она подняла голову и улыбнулась ему. На сей раз он не смутился. Ответил улыбкой.

Читать ему больше не хотелось. Он подключил телефон к компьютеру и запустил программу электронной почты. Медленно прошел всю процедуру идентификации. Модем в сотовом телефоне, пожалуй, самый медленный из всех, что существуют. Он часто задумывался, почему так. Ладно, он займется выяснением этого, когда вернется в Мюнхен.

В его почтовом ящике в компьютере мюнхенского института был только один e-mail. В обратном адресе были данные какого-то банка в Англии.

Опять какая-нибудь реклама, подумал он.

Он хотел сразу же нажать delete, но его внимание привлекла первая часть адреса: Jennifer@. В его воспоминаниях имя это звучало, как музыка. И он решил прочесть послание.

Камберли, Суррей, Англия, 29 апреля

Ты ведь J. L., правда????!!!

Так следует из твоей веб-странички. Я проторчала на ней все сегодняшнее утро в своем кабинете в банке. Вместо того чтобы войти на страницу лондонской биржи и работать, за что мне, кстати сказать, неплохо платят, я слово за словом читала твою страницу. А потом взяла такси и поехала в центр Камберли в книжный магазин купить польско-английский словарь. Я выбрала самый большой, какой был. Мне хотелось понять и те фрагменты, которые на странице опубликованы по-польски. Всего я, разумеется, не поняла, но уловила атмосферу. Такую атмосферу умел создавать только L. J., а значит, это несомненно ты.

После работы я пошла в мой любимый бар «Клуб 54» около вокзала и напилась. Я уже четыре дня голодаю, так как два раза в год «очищаюсь», голодая по неделе. Знаешь ли ты, что если выдержишь первые три дня полного голодания, то входишь в состояние своеобразного транса? Твоему организму ничего не нужно переваривать. Только тогда ты понимаешь, что крадет у тебя процесс пищеварения. У тебя внезапно появляется бездна энергии. Живешь, как под хмельком. Ты ощущаешь в себе творческие силы, возбуждение, все чувства невероятно усиливаются и обостряются. Твоя восприимчивость подобна сухой губке, готовой всосать все, что окажется поблизости. В такие периоды сочиняют прекрасные стихи, придумывают неслыханно революционные научные теории, ваяют или пишут провокативные или авангардные произведения, а также с небывалым успехом делают покупки на бирже. Вот это я могу с полной уверенностью подтвердить. Кроме того, Бах во время «голодовки» такой... такой... Короче, такой, как будто его играет сам Моцарт.

Но подобное состояние достигается, только если продержишься «в муках» первые два или три дня. Эти два или три дня – непрерывная борьба с голодом. Я даже ночью просыпаюсь от голода. Но я прошла через все это и сегодня утром начала ощущать возбуждение «непереваривания». И в этом состоянии возбуждения наткнулась на твою интернет-страницу. Лучший момент просто придумать невозможно.

И все остальное стало совершенно неважно.

В сущности, голодания я не прерывала. В этом баре я ведь ничего не ела. Только пила. Главным образом, за воспоминания. Не пей никогда – даже если эта

«Кровавая Мери» такая же отменная, какую делают в «Клубе 54», и у тебя будут самые замечательные воспоминания – на четвертый день голодовки. Съешь что-нибудь перед этим.

Потом я вернулась домой и написала этот e-mail. Он словно страница из дневника изголодавшейся (3 дня без пищи), пьяной (2 «Кровавых Мери» и 4 «Гиннеса») женщины с прошлым (12 лет биографии).

Потому прошу, отнесись к нему со всей серьезностью.

Пред-скрипtum: «Остров» в этом тексте – на случай, если ты забыл, – это мой родной остров Уайт. Маленькое пятнышко на карте между Англией и Францией в проливе Ла-Манш. Я там родилась.

Дорогой J. L.!

Знаешь ли ты, что письмо это я писала минимум тысячу раз?

Писала мысленно, писала на песке пляжа, писала на самой лучшей бумаге, какую только можно купить в Соединенном Королевстве, писала авторучкой у себя на бедре. Писала на конвертах пластинок с музыкой Шопена.

Я столько раз писала его...

Но так и не отослала. За последние 12 лет – потому что все это было ровно двенадцать лет назад – я не отослала по меньшей мере тысячу писем ЕМУ.

Потому что это письмо вовсе не тебе. Это письмо Эл. Дж. Я просто переставила инициалы и назвала его Элджот.

Ты на самом деле J. L., но его ты знаешь. Знаешь, наверно, так, как не знает никто другой. Обещай, что перескажешь ему то, что я написала. Перескажешь?

Ведь Элджот должен был быть как антракт между первым и вторым действием оперы. Я во время этого антракта пью самое лучшее шампанское, какое только есть в баре. Ну а если у меня для этого нет возможностей, я остаюсь дома и

слушаю пластинки. И он должен был быть таким вот шампанским. Только в антракте. Должен был ударять в голову. Должен был порадовать вкус и вызвать легкий хмель на второе действие. Чтобы музыка стала еще прекрасней.

Элджот таким и был. Как самое лучшее и самое дорогое шампанское в баре. Он ошеломил меня. Потом следовал еще один перерыв. А потом спектакль кончился. И шампанское тоже. Но так не случилось. Впервые в жизни из всей оперы я лучше всего запомнила перерыв между первым и вторым действиями. Перерыв этот по-настоящему так никогда и не кончился. Я поняла это сегодня днем в том клубе. Главным образом благодаря чувствам, обостренным четырьмя днями голодания и четвертому бокалу «Гиннесса».

Я провела с ним 88 дней и 16 часов моей жизни. Ни у одного мужчины не было так мало времени, и ни один не дал мне так много. Один пробыл со мной 6 месяцев и не сумел дать мне того, что у меня было с Элджотом уже после 6 часов. Я продолжала быть с этим человеком, так как считала, что его «шесть часов» еще наступят. Я ждала. Но они так и не наступили. Как-то во время очередной бессмысленной ссоры он закричал:

– Ну и что такого дал тебе этот чертов поляк, от которого у тебя не осталось ничего? Даже его чертовой фотографии нет. – А когда он торжествующе изрек: – Да имел ли он представление о том, что такое фотоаппарат? – я выставила его полупустой чемодан, с которым он переехал ко мне, за дверь.

Так что же дал мне этот «чертов поляк»? Что?

Например, дал мне оптимизм. Он никогда не говорил про печаль, хотя я знала, что он пережил бесконечно печальные времена. Он заражал оптимизмом. Дождь для него был всего лишь коротким промежутком перед появлением солнца. Всякий, кто жил в Дублине, поймет, что подобный образ мыслей – пример сверхоптимизма. Это при нем я открыла, что носить можно не только черное. При нем я поверила, что мой отец любит мою мать, только не может проявить это. Даже моя мать никогда не верила в это. Ее психотерапевт тоже.

Например, он подарил мне такое чувство, когда кажется, что через минуту ты сойдешь с ума от желания. И при этом ты знаешь, что желание твое исполнится. Он умел рассказать мне сказку о каждом кусочке моего тела. И не было такого места, которого он не коснулся бы или не изведал его вкус. Будь у него время,

он перецеловал бы каждой волосок у меня на голове. Все по очереди. При нем мне всегда хотелось раздеться еще больше. У меня было ощущение, что я почувствовала бы, наверное, себя еще более обнаженной, если бы мой гинеколог вынул у меня спираль.

Он никогда не искал эрогенных зон на моем теле. Он считал, что женщина является эрогенной зоной вся в целостности, а в этой целостности самый эрогенный участок – мозг. Эджот слышал о пресловутой G-точке в женском влагалище, но он ее искал в моем мозгу. И практически всегда находил.

Я дошла с ним до конца каждой дороги. Он приводил меня в такие чудесно грешные места. Некоторые из них сейчас для меня святыни. Иногда, когда мы любили друг друга, слушая оперы или Бетховена, мне казалось, что невозможно быть еще нежнее. Как будто у него было два сердца вместо двух легких. А может, так оно и было...

Так, например, он подарил мне маленькую красную резиновую грелку в форме сердца. Размером чуть больше ладони. Милый. В Дублине только он один мог придумать что-либо подобное. Потому что только он обращал внимание на такие вещи. Он знал, что у меня страшный предменструальный период, предшествующий еще худшим дням, и что тогда я становлюсь несправедливой, жестокой, эгоистичной, злобной ведьмой, которой все мешает. Даже то, что восток находится на востоке, а запад на западе. Однажды он поехал на другой конец Дублина и купил эту грелку. В ту ночь, когда у меня безумно болело, он встал, наполнил грелку горячей водой и положил мне на живот. Но сперва целовал мне это место. Сантиметр за сантиметром. Медленно, осторожно и невероятно нежно. Потом положил мне эту грелку. И когда я, восхищенная, смотрела на это маленькое чудо, он принялся целовать и сосать пальцы моих ног. Сперва на одной ноге, потом на другой. Он все время смотрел мне в глаза и целовал. Хоть у тебя и не бывает предменструальных периодов, ты все равно ведь способен представить, как это чудесно. К сожалению, я пережила с ним всего лишь три таких периода.

А еще, например, он подарил мне детскую любознательность. Он спрашивал обо всем. Точь-в-точь как ребенок, имеющий право задавать вопросы. Он хотел знать. И научил меня, что «не знать» – это значит «жить в опасности». Он интересовался всем. Все обсуждал, все подвергал сомнению и склонен был поверить всему, как только удавалось убедить его фактами. Помню, как однажды он шокировал меня вопросом:

– Как ты думаешь, Эйнштейн онанировал?

Он научил меня, что следует покоряться своим желаниям, как только они приходят, и ничего не откладывать на потом. Так, во время приема в огромном доме какого-то жутко важного профессора генетики в процессе нуднейшей научной дискуссии о «генетической обусловленности сексуальности млекопитающих» он вдруг встал, подошел ко мне, наклонился – все умолкли, глядя на нас, – и прошептал:

– На втором этаже дома есть ванная, какой ты в жизни не видела. Глядя на тебя, я не могу сосредоточиться на дискуссии о сексуальности. Пойдем скорей в эту ванную. – И добавил: – Как ты думаешь, это генетическая обусловленность?

Я послушно встала, и мы пошли наверх. Молча он поставил меня к зеркальной дверце шкафа, спустил брюки, раздвинул мне ноги, и... И «генетически обусловленная сексуальность млекопитающих» обрела совершенно иное чудное значение. Когда через несколько минут мы вернулись и сели на свои места, на миг воцарилась тишина. Женщины пытливно смотрели на меня. Мужчины закурили сигары.

Еще он, например, подарил мне ощущение, что я для него самая главная женщина. И все, что я делаю, для него имеет значение. Каждое утро, даже если мы спали вместе, он, здороваясь со мной, целовал мне руку. Открывал глаза, вытаскивал мою руку из-под одеяла и целовал. И говорил при этом: «Дзень добры». Всегда по-польски. Как в первый день, когда нас представили друг другу.

Иногда, случалось, он просыпался ночью, «пораженный какой-нибудь идеей» – так он это называл, – тихонько вылезал из постели и шел заниматься своей генетикой. Под утро возвращался, залезал под одеяло, чтобы поцеловать мне руку и сказать «дзень добры». Он наивно думал, что я не замечала его уходов. А я даже наносекунды, проведенные без него, замечала.

Он мог прибежать в институт, где у меня были занятия, и сказать, что опоздает на ужин на десять минут и чтобы я не беспокоилась. Понимаешь, невероятно долгие десять минут...

Он подарил мне, например, за эти 88 дней и 16 часов больше пятидесяти пурпурных роз. Потому что я больше всего люблю пурпурные розы. Последнюю он подарил мне в тот последний шестнадцатый час. В аэропорту в Дублине перед самым отлетом. Знаешь ли ты, что, когда я возвращалась из аэропорта, мне казалось, что эта роза – самое главное, что мне кто-либо когда-либо дал за всю мою жизнь?

Он был моим любовником и одновременно лучшей подругой. Нечто подобное случается только в фильмах и причем только тех, которые снимают в Калифорнии. А со мной случилось в действительности в дождливом Дублине. Он давал мне все и ничего не хотел взамен. Совершенно ничего. Никаких обещаний, никаких клятв, никаких обетов, что «только он и никогда никто другой». Попросту ничего. Это был его единственный ужасный недостаток. Не может быть для женщины большей муки, чем мужчина, который так добр, так верен, так любит, такой неповторимый и который не ждет никаких клятв. Он просто существует и дает ей уверенность, что так будет вечно. Вот только боишься, что вечность эта – без всяких стандартных обетов – будет короткой.

Моя вечность длилась 88 дней и 16 часов.

С 17 часа 89 дня я начала ждать его. Уже там, в аэропорту. От дверей терминала он отъехал в автобусе. Медленно поднялся по трапу, ведущему в самолет, и на самом верху у самолетной двери повернулся к смотровой террасе, на которой стояла я – он знал, что я там стою, – и прижал правую руку слева к груди. Так он стоял несколько секунд и смотрел в мою сторону. Потом исчез в самолете.

Больше я его не видела.

Первые три дня голодания ничто в сравнении с тем, что я пережила в первые три месяца после его отъезда. Он не написал. Не позвонил. Я знала, что самолет долетел до Варшавы, потому что после недельного его молчания позвонила в лондонское бюро ЛОТ, чтобы увериться, что ничего страшного не произошло.

Он просто прижал руку к сердцу и исчез из моей жизни.

Я страдала, как ребенок, которого отдали на неделю в приют, а потом забыли взять. Я тосковала. Невероятно. Я любила его и потому не могла желать ему плохого и оттого еще больше страдала. Через некоторое время в отместку я

перестала слушать Шопена. Потом – в отместку – выбросила пластинки со всеми операми, которые мы слушали вместе. Потом – в отместку – возненавидела всех поляков. Кроме одного. Его. Потому что на самом деле я не способна мстить.

Потом мой отец бросил мою мать. Мне пришлось на полгода прервать учебу и из Дублина вернуться на Остров, чтобы помочь ей. Но больше всего это помогло мне самой. На Острове все просто. Остров возвращает вещам истинные их пропорции. Когда идешь на береговой обрыв, который был тут уже 8 тысяч лет назад, то многие вещи, которые людям кажутся безмерно важными, утрачивают значение.

Спустя полгода после его отъезда, уже перед Рождеством, мне на Остров прислали пачку писем, пришедших на мое имя в Дублин. Среди них я нашла письмецо от Эджота. Единственное за все эти 12 лет. На безвкусной почтовой бумаге какого-то отеля в Сан-Диего он написал:

«Единственное, что я мог сделать, чтобы пережить разлуку, это полностью исчезнуть из твоей жизни. Ты была бы несчастлива здесь со мной. Я не был бы счастлив там.

Мы с тобой из разделенного мира.

Я даже не прошу, чтобы ты меня простила. То, что я сделал, простить нельзя. Можно только забыть.

Забудь.

Якуб.

P.S. В Варшаве, когда у меня есть время, я обязательно еду в Желязову Волю. Приезжаю туда, сажусь на скамейку в саду дома Шопена и слушаю музыку. Иногда плачу».

Я не забыла. Но письмо это мне помогло. Хотя я и не согласилась, но хотя бы узнала, как он справился с тем, что было между нами. Это было самое

эгоистическое решение из всех известных мне, но я хотя бы узнала, что он что-то решил. У меня было хотя бы это его «иногда плачу». Женщины живут воспоминаниями. Мужчины тем, что они забыли.

Я вернулась в Дублин, окончила институт. Потом отец решил, что я буду вести дела нашей семейной фирмы на Острове. Я выдержала год. Я убедилась, что мой отец – человек с нулевым коэффициентом эмоциональной интеллигентности. Его высокий IQ тут ничего изменить не мог. Чтобы окончательно не возненавидеть его, я решила бежать с Острова.

Я уехала в Лондон. Защитила докторскую по экономике в колледже Куинз-Мери, научилась играть на фортепьяно, ходила на балет, нашла работу на бирже, слушала оперы. Но уже никогда не было такого антракта, который оказался бы важнее спектакля. И такого шампанского тоже.

Потом пошли мужчины без всякого смысла. И чем больше их было, тем меньше мне хотелось сблизиться с каждым последующим. Дошло даже до того, что порой, когда мы лежали в постели и мужчина целовал меня «там внизу», я «там наверху» все равно чувствовала себя одинокой. Потому что они лишь механически касались меня эпидермой своих губ или языка. А Эджот... Эджот меня попросту «съедал». С такой же жадностью, с какой съедают первую клубнику. И иногда опускал ее в шампанское.

Я так и не сумела полюбить ни одного из этих мужчин, у которых на губах была только эпидерма.

После двух лет пребывания в Лондоне я обратила внимание, что у меня совсем нет подруг, а большинство моих друзей гомосексуалисты. Если не брать в расчет их несколько отличную ориентацию, они часто оказываются по-настоящему мужчинами. Мне повезло встретить лучших из них. Тонких, деликатных, слушающих то, что ты им говоришь. Им не надо притворяться. И если они платят за твой ужин, то вовсе не для того, чтобы тем самым обеспечить себе право стянуть с тебя трусики. Ну а то, что в ушах они носят сережки...

Это же просто гениально – как говорит одна из моих сотрудниц в банке, – по крайней мере есть гарантия, что человек знает, что такое боль, и понимает толк в бижутерии.

Потом ушла из жизни мама. Никто не знает, как это произошло. Она плыла на пароме с Острова в Кале и упала за борт. Тело ее так и не нашли. Зато в ее спальне в шкатулке нашли завещание, написанное буквально за неделю до смерти, и обручальное кольцо, перепиленное пилкой для металла пополам.

Первое время горе мое было так огромно, что я не могла по утрам заставить себя встать. У меня была эндогенная депрессия. Тогда мне больше всего помог прозак. Маленькая бело-зеленая таблетка с чем-то магическим внутри. Помню, как Эджот пытался объяснить мне магию действия прозака. Он говорил, что это как карточный фокус. Картами были какие-то нейропередатчики на синапсы. До конца я так и не поняла. Но знаю, что он действует. Мой психиатр тоже знал это.

А знаешь ли ты, что в депрессии люди чаще всего совершают самоубийство, когда прозак начинает действовать и они уже находятся на дороге к выздоровлению? В разгар депрессии ты совершенно вялый и тебе неохота даже перерезать себе вены. Ты ходишь или лежишь, будто в схватывающемся бетоне. А вот когда прозак начинает действовать, у тебя появляется достаточно сил, чтобы раздобыть бритву и пойти в ванную. Потому те, кто находится на самом дне депрессии, должны принимать прозак в клинике, а безопасней всего, если их еще привязывают ремнями к кровати. Это чтобы они не могли пойти в одиночку в ванную. Однако они вполне способны обмануть бдительность санитаров и пробраться на крышу здания клиники.

После прозака мой психиатр объявил мне, что я должна «произвести практическую ретроспекцию» и поехать в Польшу. Этаким психоаналитический эксперимент, чтобы сократить лежание на диване.

Это было в мае. Я приехала в воскресенье. У меня был подробный план «практической ретроспекции» на все семь дней: Варшава, Желязова Воля, Краков, Освенцим. Но это был всего лишь план. В Варшаве я почти все время провела в отеле недалеко от памятника, возле которого постоянно стоят часовые. Каждое утро после завтрака я заказывала такси и ехала в Желязову Волю. Там сидела на скамейке возле дома и слушала Шопена.

Иногда не плакала.

В Желязовой Воле я бывала ежедневно. За исключением четверга. В четверг, когда я, как обычно, ехала туда в такси, по радио произнесли его фамилию. Я

велела таксисту развернуться и ехать во Вроцлав.

В деканате целый час искали кого-нибудь, кто говорит по-английски. А когда нашли, какая-то милая женщина сказала мне, что Эджот уехал в Германию и вряд ли вернется, потому что «нужно быть полным идиотом, чтобы вернуться сюда».

Как он мог уехать в Германию? После того, что немцы сделали в лагере с его отцом?

Эта милая женщина из деканата не знала его адреса. Да, впрочем, я и не хотела его получить. В тот же вечер я вновь была в Варшаве. Практическая ретроспекция была завершена. Психиатр оказался не прав. Это ни капельки не помогло.

Может, ты знаешь, по какому праву, по какому чертову праву Эджот решил, что я была бы несчастна в этой стране? Почему? Потому что дома серые, потому что в магазинах только уксус, потому что телефоны не действуют, потому что нет туалетной бумаги, потому что кружки для газированной воды прикованы ржавыми цепями? Почему он не спросил меня, что мне действительно необходимо в жизни? Да я вообще не звоню по телефону. Не пью газированную воду, а уксус добавляю всюду, даже в fish'n'chips[3 - Рыба с жареной картошкой (англ.)].

Нет! Он даже не удосужился спросить меня. Он, который спрашивал меня обо всем, даже про то, «что ты ощущаешь, когда в тебе набухает от крови тампон».

Он просто прижал руку к одному из своих двух сердец и уехал. А ведь я могла бы вместе с ним копать колодец, если бы оказалось, что там, куда он меня привез, еще нет воды.

А потом и мир, который якобы нас разделил, перестал быть разделенным. Настали такие времена, что вечером я ложилась спать, а ночью в какой-нибудь стране менялся политический строй.

В Лондоне для меня слишком высокое давление. Чтобы выдержать его, надо быть герметичным, иначе все из тебя уйдет. Это чистой воды физика. Но я не умела быть до такой степени непроницаемой. Вдвоем гораздо легче

«удерживать крышку». Я же могла быть только одна. Даже если я и позволяла кому-то засыпать рядом с собой, то всегда получалось так, что я удерживала две крышки. А кроме того, мне по определению было трудней. Я ведь родом из деревни. И Дублин ничего не изменил. Остров всегда был деревней. Деревней на береговом обрыве. Самой прекрасной на свете. Однако я не хотела возвращаться на Остров. Потом оказалось, что в этом и не было надобности.

Как-то после оперы и ужина, который на самом деле был дележом под черную икру «остатков» какого-то мелкого банка между двумя крупными, директор одного из крупных банков спросил у меня – я была приглашена, поскольку считалась «многообещающим биржевым аналитиком младшего поколения», что в переводе на общепринятый в банке язык означало, что у меня лучшая грудь в отделе ценных бумаг, – так вот, он спросил меня, не живу ли я в Ноттинг-Хилле. Когда я шутливо ответила, что квартира в Ноттинг-Хилле мне не по карману, он улыбнулся, продемонстрировав безукоризненно белые зубы, и сказал, что это очень скоро изменится, но, впрочем, это не имеет никакого значения, «поскольку он всегда живет рядом со мной, где бы я ни квартировала». Я прекрасно поняла его. Мне даже понравился этот его ответ. Он был француз, но говорил – а это просто абсолютное исключение – по-английски с американским акцентом. Понравилось мне также и то, что он, хоть и был самой важной персоной в этой банковской компании, весь вечер в отличие от других был молчалив. Кроме того, здороваясь, он поцеловал мне руку. С ужина мы ушли вместе.

Жил он в отеле «Парк Лейн». И был импотент. Ни один мужчина после Элджота не был так нежен, как он в тот вечер. Когда утром я проснулась в его постели, его уже не было. Через неделю он спросил меня, не хотела бы я руководить «стратегически важным отделом нашего банка в Ноттинг-Хилле». Я не хотела. После ланча я позвонила ему и спросила, нет ли у него какого-нибудь «стратегически важного отдела» в Суррее. Суррей почти как Остров, только что моря нет. В тот же вечер он прилетел из Лиона, чтобы за ужином сообщить мне, что «разумеется, такой отдел есть, существует с сегодняшнего дня». Когда после коктейля у стойки бара мы пошли в «Парк Лейн», там стоял самый лучший проигрыватель компакт-дисков, какой только можно найти за несколько часов в Лондоне. А рядом в четыре ряда стояли несколько сотен дисков классической музыки. Несколько сотен.

Думаю, он любит меня. Он тонкий, чувствительный и с такой грустью вглядывается в мои глаза. Он не большой поклонник музыки, но привозит мне все, что музыкально одаренная ассистентка из отдела рекламы в его банке

отыскивает по всему свету в звукозаписывающих фирмах, которые специализируются на выпуске классики. Иногда я получаю диски еще до того, как они появятся в европейских магазинах. Он способен прилететь из Лиона, встретиться со мной в аэропорту и забрать на концерт в Милан, Рим или Вену. Иногда после концерта мы не идем ни в какую гостиницу. Он возвращается в Лион, а меня сажает в самолет до Лондона.

Во время концерта он все время сжимает и целует мне руки. Я этого не люблю. Концерт Караяна – это все-таки не фильм в затемненном зале. Но я позволяю это делать. Он славный мужчина.

Он ничего особенного не требует от меня. Я должна только говорить, как сильно я его хочу. Не больше. Иногда он рассказывает мне о своих дочках и жене. Достает бумажник и показывает их фотографии. Он добрый, заботится обо мне. Три раза в неделю я получаю от него букеты цветов. Иногда их приносят даже ночью.

Я не сказала ему, что люблю пурпурные розы. Для меня это слишком личное.

Я могла бы руководить этим банком в Кэмберли. Уже с завтрашнего утра. Достаточно было бы одного телефонного звонка. Но я не хочу. Предпочитаю быть «многообещающим биржевым аналитиком» и не нести никакой ответственности.

Я все лучше играю на фортепьяно. Много путешествую. В Кэмберли у меня старый дом с садом, где растут пурпурные розы. В уик-энды, если он не прилетает из Лиона, я встречаюсь в Лондоне с моими друзьями, которые носят в ушах серьги, и мы устраиваем всякие безумства. Иногда я навещаю Остров.

Также раз в год я езжу в Дублин на встречу нашего выпуска. Происходит она во вторую субботу мая. В Дублине я ночую в Тринити Колледж. С тех пор как оттуда уехал Элджот, там практически ничего не изменилось. Но в Тринити ничего не меняется с XIX века. Ночью в субботу я удираю со встречи нашего курса и иду по коридорам к кабинету, где он тогда работал. Сейчас там какой-то склад. Но двери все те же. Тогда я тоже неоднократно там стояла. А один раз все-таки решилась постучать. Но то была немножко другая ночь, чем эта. И было это ровно 12 лет назад. Только тогда его день рождения уже кончался, а не начинался.

Потом ухожу оттуда и по пути останавливаюсь у лекционной аудитории, где свет с грохотом загорался и гас, когда он опирался спиной о выключатели, а я стояла перед ним на коленях. Сейчас войти туда нельзя, но через гравированное стекло в дверях все видно. Потом я возвращаюсь на встречу и напиваюсь.

Последнее время я чувствую себя очень одиноко. У меня будет ребенок. Сейчас самое время родить ребенка. Ведь мне уже тридцать пять лет. Кроме того, я хочу иметь что-то принадлежащее одной мне. Что-то, что я буду любить. Ведь если говорить по правде, то больше всего в жизни я хочу кого-нибудь любить.

Несколько дней назад я послала e-mail в The Sperm Bank of New York, самый лучший банк спермы в США. Они строже всех хранят тайну, делают самые лучшие генетические тесты, и у них самые полные каталоги. Через месяц я лечу на встречу с их генетиком. В принципе это всего лишь формальность. Мне бы хотелось девочку. Я послала им свой профиль. Ты даже не представляешь себе, как много доноров с IQ выше 140! Кроме того, донор должен быть «из музыкально одаренной среды», иметь докторскую степень и происходить из Европы. Мне прислали список фамилий более чем 300 доноров. Я выбрала только тех, у кого были польские фамилии.

Я задумалась, какие глаза были у Эджота. Он говорил, серые. А мне они казались зелеными. Когда я выбрала зеленые глаза и присовокупила докторскую степень в точных науках, остались только 4 донора. На одном из них я останавливаюсь после разговора с генетиком в Нью-Йорке.

Вот уже и утро начинается. Сегодня воскресенье. 30 апреля. Это особенный день. Для этого дня у меня два специальных бокала. Но это на вечер. Вечером я буду слушать «Богему» Пуччини, закурю сигару, привезенную мной из Дублина, и выпью самого лучшего шампанского. В перерыве между первым и вторым актами.

Из твоего бокала тоже выпью. Всего самого прекрасного тебе в день твоего рождения, Эджот...

Дженнифер

P.S. Когда рожу дочку, дам ей имя Лора Джейн.

ОНА: Подъезжали к Франкфурту-на-Одере. Она взяла бутылку минералки и взглянула на него. Включенный ноутбук лежал у него на коленях, а сам он сидел, прижав правую руку к сердцу, и всматривался в окно. У нее тоже иногда бывало, что, глубоко задумавшись над чем-то, она сидела с отсутствующим взглядом. Веки не опускаются, зрачки расширены и совершенно неподвижны. Устремлены в одну точку. Как сейчас у него. Но в этом было что-то неестественное. И рука на сердце, и застывший взгляд. На его лице отражалась печаль. Почти что боль.

Дверь открылась. В купе заглянул старик и принялся громко читать номера мест. Он обратился по-немецки к сидящему:

– У вас на это место билет?

Тот не реагировал. Старик повторил вопрос, и когда тот опять не отреагировал, решился дотронуться до его плеча.

– Простите, у вас тоже билет на это место?

Сидящий выглядел так, будто его внезапно разбудили.

Он тут же встал, освободив место старику.

– Нет. У меня нет билета на это место. У меня вообще нет билета. Можете быть спокойны, это ваше место.

Он выключил ноутбук и положил его в кожаную сумку. Осторожно, чтобы никого не задеть, снял свой чемодан. Вывез его в коридор. Сумку повесил себе на плечо. Снял с вешалки пиджак и перебросил его через сумку с ноутбуком. Обернулся к сидящим в купе и грустно взглянул на нее. Попрощался со всеми по-польски и по-немецки и вышел. Больше она его не видела.

ОН: Жизнь по преимуществу печальна. А сразу потом умираешь.

До Института генетики Фонда имени Макса Планка легче всего доехать по шестиполосной автостраде, проходящей возле современного здания, в котором находится его кабинет. Это одна из самых загруженных автострад в Мюнхене. Дальше она идет напрямиком в центр города, а тут, где находится его институт, отделяет окруженную высоким забором торговую территорию от остального города. Метрах в ста от института, ближе к городу, над автострадой проходит виадук. Одна из опор виадука находится на зеленой полосе, разделяющей автостраду. По немецким правилам у его мотороллера слишком маленькая скорость, чтобы на нем можно было ездить по автостраде, поэтому он по виадуку едет сперва до торговых участков, а оттуда по нормальным улицам до самого дома.

Вчера он вышел из института около одиннадцати вечера. Вообще-то он собирался ехать не на мотороллере, а в метро. Январь в Мюнхене очень холодный, и в свете фонарей на тротуарах искрился ледок. А мотороллер на льду непредсказуем. Он узнал это еще прошлой зимой, когда после падения на замерзшей луже три дня провел с коленом в гипсе. Но стоило ему подумать, что придется четверть часа идти до станции метро, а потом ждать поезда, может, даже все полчаса, он тут же решил, что сегодня еще поедет на мотороллере, «но это уже в последний раз».

Возле средней опоры на левой полосе как раз напротив въезда на виадук лежал на крыше разбитый всмятку и полностью сгоревший автомобиль. На тротуаре по другую сторону автострады по кругу бегала молодая женщина в шубе, толкая перед собой детскую коляску, и что-то отчаянно кричала на непонятном языке. Когда она повернулась к нему, он увидел, что под шубой она совершенно голая. У поребрика стоял, мигая аварийными огнями, серебристый «Мерседес» с настежь распахнутыми дверцами. Толстый лысый мужчина, стоящий около «Мерседеса», с неподдельной яростью пинал его и что-то кричал в сотовый телефон.

Под виадуком было полно дыма, из багажника разбитой машины еще вырывались язычки огня. Первым инстинктивным побуждением было – бежать. Но продолжалось это какие-то доли секунды. Он остался. Поставил мотороллер на тротуаре у стены. Убедился, что никто не едет, и медленно двинулся к опоре. Он еще не знал, что сделает. Он просто чувствовал, что должен туда пойти. Но он боялся. Страшно боялся. Глаза начали слезиться от дыма.

И вдруг стало светло, как днем. С торговой территории на огромной скорости выехал полицейский автомобиль. Кроме синей мигалки, включаемой в подобных случаях, на крыше полицейского «БМВ» горел мощный прожектор, направляя сноп света на разбившуюся машину. «БМВ» не успел еще остановиться, а из него уже выскочили четверо полицейских с огнетушителями. Через минуту останки автомобиля покрывал толстый слой белой пены. И тут же подъехала красная пожарная машина. Мощные струи воды из водометов на прицепе смыли пену. Когда вода стекла с мостовой, один из пожарных лег и заполз в перевернувшийся автомобиль. Уже через минуту он выполз, вскочил, отбежал к опоре, и его стало тошнить.

Он все это видел, стоя за опорой в нескольких метрах от разбитой машины. А потом какой-то человек в черной кожаной куртке схватил его под руку, бегом отвел на другую сторону автострады недалеко от серебристого «Мерседеса».

Женщина в шубе все так же ходила по кругу и что-то говорила самой себе. Ребенок в коляске заходился от плача. Дверцы «Мерседеса» были закрыты. Лысый толстяк с сотовым телефоном исчез.

Какой-то миг ему казалось, что все это неправда. Что он случайно оказался на съемках триллера и что через минуту услышит, что объявляется перерыв, а потом будет сниматься еще один дубль. Но это был не фильм. Такое могло случиться только в жизни.

Девушка из Румынии – все это ему рассказал полицейский в черной куртке, который позже записывал его показания в полицейском «БМВ», – проститутка. Ей восемнадцать лет. Чтобы подработать на стороне, она иногда сбегает со своего постоянного места в центре Мюнхена и приходит сюда под виадук. Тут очень хорошее место. Исключительно удачное. Особенно когда в Мюнхене происходит какая-нибудь ярмарка. Всегда можно дополнительно заработать. Девушка стоит на краю тротуара и, когда приближается машина, распахивает шубу, под которой на ней ничего нет. Минет за сорок марок, рукой – тридцать и нормально за шестьдесят. Без презерватива цена утраивается зимой и удваивается летом. Шубу, одну на четырех девушек, они взяли напрокат в театре.

Румынка приехала в Германию без визы и уже беременная. Но даже беременная она стояла на улице. Сейчас ее ребенку шесть месяцев. Сегодня вечером из-за

ярмарки все ее подруги «работали», и ей не с кем было оставить малышку. Она решила взять ее под виадук. Летом она так уже делала. Девочка спала, когда она поставила коляску за кусты, что растут на крутом откосе насыпи виадука.

Подъезжала машина. Румынка быстро сбежала на тротуар и распахнула шубу. Серебристый «Мерседес» остановился. Она подошла, сунула голову в открытое окно машины, чтобы договориться о цене. И в этот момент произошло нечто страшное. Полицейский в кожаной куртке понизил голос, словно спрашивая, действительно ли он хочет это услышать.

Никто не знает, как это произошло. Может, по виадуку проезжал тяжелый большегрузный фургон, вызвавший вибрацию всего сооружения. Может, девушка по невнимательности и в спешке не до конца нажала тормоз колес коляски.

Может, ребенок в коляске дернулся слишком резко. Во всяком случае, когда она стояла, сунув голову в окошко серебристого «Мерседеса» и сговаривалась о цене, коляска с ребенком скатилась с откоса виадука, пересекла тротуар и выкатилась на мостовую. А в этот момент под виадук въезжал на своей «Мазде» этот студент. Там действует ограничение скорости до восьмидесяти километров в час, но никто же ему следует. Особенно ночью. Студент в последний момент, видимо, заметил выкатывающуюся из-за «Мерседеса» коляску. Он затормозил. Попытался объехать. На обледеневшем асфальте его занесло. Тот пожарный сказал, что тело студента сплавилось в пламени с металлическим листом корпуса машины, внутри которой все сгорело. С малышом в коляске ничего не произошло. А студент превратился в обугленный труп. Он был единственным ребенком. Родители купили ему «Мазду», когда он поступил в институт. Ему не было еще и двадцати. Родители пока не знают. Живут они недалеко. В Эрлангене. И полицейский сказал, что, когда он закончит этот протокол, ему придется поехать к ним и рассказать, что случилось. Что сын их погиб, что останки его сплавались с внутренней стороной корпуса машины.

Домой он возвращался в метро. Мотороллер оставил у стены виадука. А дома никак не мог заснуть. Он пробовал читать. Но ничего не получалось. Он не мог сосредоточиться. Тогда он достал вино и включил музыку. Он сидел в спальне на полу возле кровати и пил прямо из бутылки. Думал о родителях этого студента. Ему хотелось бы сказать им, что это можно пережить. Хотел бы сказать, прежде чем к ним явился тот полицейский. И еще он думал об этом полицейском в черной кожаной куртке. Полицейский вдруг показался ему героическим и

благородным. Думал он и о румынке. Можно ли жить с таким знанием и не сойти с ума?

Проснулся он рано утром на полу возле кровати. Вставая, задел пустую бутылку. По дороге в ванную он разделся. Включил на самую большую громкость приемник, висящий у окна. Встал под душ. Радио сообщило, что сегодня 30 января 1996 года, вторник. Жизнь продолжается. Как ни в чем не бывало. Опять вышли газеты, и опять такие же автомобильные пробки на тех же самых улицах в тех же самых местах. Когда от него ушла Наталья, больше всего он не мог смириться с тем, что на следующий день жизнь по-прежнему продолжалась. Как ни в чем не бывало. Тогда тоже мир не остановился. Даже на краткий миг. Бог опять ничего не заметил...

Он считал такое настроение постыдной слабостью и немощью, приличной разве что больному старику. После происшествий, подобных тому, что произошло прошлой ночью, он просто не мог не впасть в депрессию. Со всеми ее симптомами: унынием, страхом, стеснением в грудной клетке, вялостью, временами переходящей в оцепенение, ощущением бессмысленности жизни и погребальным настроением. То была патология, и он знал: это следы отчаяния, пришедшие из его прошлого. И тут помогала только работа.

Утром он взял из кухни фирмы несколько банок кока-колы, заперся у себя в кабинете и никому не показывался на глаза. Он программировал. Хотел до середины дня закончить фрагмент программы, который он обещал отослать в Варшаву. Его институт сотрудничал с Варшавским университетом. Привлечь Варшаву к одному из их проектов предложил он. Благодаря этому он легально посылал программные материалы, которые институт покупал в США, также и в Варшаву, делал с варшавскими коллегами совместные публикации и, что было для него особенно важно, время от времени ездил туда с лекциями. Несмотря на то что он работает и живет в Мюнхене, ему было страшно важно после защиты в Польше продолжать присутствовать в родной стране хотя бы как ученому.

И как раз молодой аспирант подбросил ему идею установить у себя в компьютере программу, которая в последнее время производила фурор в Интернете. Написанная двумя студентами из Израиля и – как почти все лучшее в Интернете – бесплатная, она позволяла в реальном времени устанавливать непосредственный, без задержки, контакт между двумя людьми, подключенными к Сети. И аспирант вовсе не случайно написал Сеть с большой буквы. Интернет постепенно становился чем-то культовым. Особенно для

молодого поколения. Назвать его просто сетью, как ничего не значащее переплетение кабелей в банке или учреждении, означало бы отнять у Интернета мистическое очарование чего-то, что объединяет вне зависимости от любых разделений.

Ладно, пусть будет Сеть, подумал он. Культовое отношение у него давно уже прошло. Он пользуется этой Сетью с большой буквы «С» еще с тех пор, когда Интернет был абсолютным таинством, интеллектуальной Камасутрой, а не щелканьем мышкой по ярким, чаще всего синим надписям или иконкам. Но программа, которую рекомендовал аспирант, была действительно интересная. Называлась она ICQ. Авторы использовали буквы «I», «C», «Q», поскольку, произнесенные последовательно, они дают аналог английской фразы «I seek you», что означает «Я ищу тебя». Люди, в чьих компьютерах установлена программа ICQ – и, разумеется, подключенные к Сети, – благодаря ей находили друг друга. У себя в компьютерах они создавали список друзей, которых искали, и ICQ давал им знать, подключены ли их друзья именно в этот момент к Интернету. Это было все равно как войти в зал, осмотреться и определить, кто из друзей там находится. Только залом был весь мир. Не имело никакого значения, что кто-то находится в Сиднее, кто-то в Дублине, а еще кто-то чуть ли не за углом – в Кракове или Гданьске. И это было самое культовое в Интернете. Отныне все оказывалось «за углом».

ICQ оповещает о присутствии друзей и позволяет обмениваться с ними информацией. Без задержек. Немедленно. Своеобразный разговор с использованием клавиатуры. Отсылка коротких e-mail'ов, которые доходят в тот же миг. Это здорово стимулирует беседу.

Но ICQ – это не только обмен короткими репликами. Это гораздо больше. Это, например, чат. Английское слово, принятое даже французами, для которых компьютер вовсе не компьютер, а «ординатёр». Однако чат они приняли, потому что чат только так и можно назвать, чтобы он означал то, что означает. А означает «беседа», «болтовня», но в Интернете это подлинный разговор. Без границ. В случае ICQ он заключается в том, что экран компьютера делится на две части. Разговаривающие получают по половине экрана и пишут свои тексты. Каждый видит процесс написания текста «собеседником». Его нервность, ошибки, промедление. Возможно, это несколько другое, чем дрожь голоса, но тоже эмоционально. И вдобавок тут ни от чего не удастся отказаться. Вульгарное отрицание «а я этого не говорил» тут не сработает. Потому что все зарегистрировано. Можно вернуться к началу экрана и процитировать. А кроме

того, весь процесс можно записать на диске компьютера, распечатать или отослать как e-mail по любому адресу. Потому для многих чат является бесповоротным разговором. Авторизованным по определению. Как протокол признания или записанное на пленку интервью. Любое высказывание, любая ложь, любое обещание могут быть вновь продемонстрированы на экране. Притом, чтобы начать чат, можно находиться где угодно. Для этого достаточно компьютера, Интернета и программы, обеспечивающей возможность чата. Такой программой, например, является ICQ. Но есть и другие. Много других. Расстояние роли не играет. Сигналы в Сети расходятся со скоростью света.

ICQ – это была гениальная идея. Все гениальные идеи возникают из простейших основных потребностей. Здесь основной потребностью было неограниченное общение. Когда оказалось, что благодаря Интернету можно преодолеть расстояние, появление чего-то наподобие ICQ стало лишь вопросом времени. Потому что люди с самого начала любили общаться.

Аспирант из Варшавы тоже хотел постоянно общаться с ним, потому и подкинул мысль насчет ICQ. Когда им нужно было обсудить состояние проекта, последние замыслы, ошибки в программе, а также погоду в Варшаве и цены на пиво в Мюнхене, они просто открывали чат на ICQ и разговаривали.

Подобное общение было необходимо: они вместе писали программу. То есть каждый из них писал свой кусок. В самом начале они установили, как эти два куска сложатся, чтобы все функционировало. Большие программы сейчас пишут только так. Каждый делает свой кубик, а потом они складываются вместе. И чтобы сделать качественные кубики, а потом правильно сложить их, вовсе нет необходимости встречаться и даже быть знакомыми. Для этого вполне достаточно Интернета. Он вспомнил, с каким интересом читал о совместном инженерном проекте, реализованном фирмой «Мерседес-Бенц». Над проектом работали в Японии, на Западном побережье США и в Германии. Группа в Японии начинала программировать. Когда она кончала рабочий день, в свои кабинеты после завтрака приходили немцы, а когда они уходили домой, работу от них перенимали программисты из Калифорнии. Каждая группа результаты своего трудового дня пересылала по Интернету «сменщикам»: японцы немцам, немцы американцам, американцы японцам. Таким образом, работа над проектом в «Мерседес-Бенц» шла круглые сутки.

Он тестировал свою часть на большом компьютере фирмы. Несколько сотен метров кабеля соединяли компьютер на его столе с быстродействующим

мейнфреймом, находящимся в большом кондиционированном зале рядом с институтской кухней. Если бы аспирант из Варшавы хотел запустить свой «кусочек» на их мюнхенский компьютер, ему потребовался бы только очень длинный кабель. И более ничего. Однако тянуть такой кабель не было необходимости. Он уже существовал. Интернет.

Но аспиранту в Варшаве не было надобности ничего запускать в Мюнхене. Он тестировал свою часть в Варшаве и потом пересылал готовую, используя одну из многих возможностей ICQ. То же самое делал и он, протестировав свою часть. Но только до четырнадцати часов. Потом просыпалось Восточное побережье США, и Интернет «замедлялся». Особенно это было заметно, если сравнивать время доступа к веб-страницам. Америка сразу же после пробуждения включала свои модемы, принималась читать пришедшие ночью e-mail'ы и утреннюю интернетовскую прессу, а также открывать свои чаты.

Благодаря Интернету и ICQ у него возникало впечатление, что варшавянин находится в соседнем кабинете и они не навещают друг друга только от недостатка времени или же по лености. Рабочий день они начинали вместе по ICQ, устанавливали план контактов и оставались нон-стоп в Сети. Это называлось быть online. На всякий случай, если бы одному из них пришло в голову что-то важное и он захотел немедленно проинформировать о том партнера.

Но сегодня утром он хотел быть в кабинете совсем один. И внезапно он осознал, что быть совсем одному означает также нежелание соединиться со всеми теми, кто был в его списке ICQ. Однако и реальные люди из соседних комнат были так же нежелательны, как и виртуальные. И неважно, откуда они – из Варшавы, Сан-Диего, Базеля, Дублина или Гамбурга. В любой момент они могли спросить: «Как себя чувствуешь, Якуб?»

И довольно часто спрашивали. А сегодня он не хотел отвечать на подобные вопросы. Главное, потому что пришлось бы задуматься над ответом. Работая же, он думал только о том, что пишет. А самое главное – ему нельзя было задумываться о себе.

Однако выбора у него не было. Он не мог выключить ICQ. У них началась очень важная фаза проекта, и он обещал в Варшаве, что постоянно будет на связи. Так что утром он включился в ICQ, надеясь, что не найдется заботников, которые станут интересоваться его самочувствием. И ему почти удалось. До половины

пятого никто его не тревожил. И только тогда в правой нижней части монитора начал мигать символ в виде маленькой желтой карточки. Знак, что кто-то прислал ему сообщение по ICQ и, вероятнее всего, дожидается ответа. Он отпил колы из банки и щелкнул по желтой карточке.

Я все еще немножко влюблена, еще полна остатками бессмысленной любви, и мне так грустно сейчас, что захотелось кому-нибудь сказать об этом. Какому-нибудь совершенно чужому человеку, который не сможет меня обидеть. Наконец будет хоть какая-то польза от этого Интернета. Я попала на тебя. Могу я тебе рассказать?

С минуту он чувствовал себя как человек, который случайно прочитал письмо, адресованное другому. Прежде всего он должен был увериться, что оно назначено ему. И если да, узнать, почему именно ему. Он написал:

Вы уверены, что хотите именно меня одарить своим доверием? И если да, как получилось, что вы попали именно на меня?

В этот момент она открыла чат.

ОНА: Послушай, ты – Якуб, ты – поляк и уже много лет живешь в Мюнхене. Ведь так? Я выбрала тебя, потому что ты достаточно анонимен, находишься достаточно далеко и достаточно долго живешь в Германии. Для меня это гарантия, что ты не подстроишь мне какой-нибудь сюрприз. Хочешь ли ты, чтобы я тоже обращалась к тебе на «вы»? Будет не так камерно и интимно. Но если ты хочешь...

ОН: Все это нетрудно было узнать. Регистрируясь в ICQ, следовало сообщить о себе кое-какие данные. То, что она сообщила, в точности совпадало с тем, что он вписал в регистрационный формуляр. ICQ позволял гарантированно прочесывать банк данных всех, кто вписан в него, по разным критериям. Так она нашла его.

Она была провоцирующе непосредственна. Да, именно так. Он улыбнулся. В первый раз за этот день. И напечатал:

В принципе, больше всего сюрпризов устроили миру немцы, но я не собираюсь их оправдывать. Разумеется, ты можешь обращаться ко мне на «ты». Даже если тебе всего 13 лет.

ОНА: Скажи только, какое у тебя образование. Это не нахальство. Всего лишь любопытство. Мне бы хотелось иметь с тобой общую частоту.

ОН: Это уже теряло характер провоцирующей непосредственности. И смахивало уже на наглость. Ему трудно было поверить в искренность ее утверждения «это не нахальство». Но если она собиралась его спровоцировать, то ей это удалось. Он нервно застучал по клавишам:

Образование? Нормальное. Как у всех. Магистр математики, магистр философии, доктор математики, доктор информатики.

ОНА: Господи! Ну я и попала! Тебе что, уже под семьдесят? Если так, то это замечательно. Значит, у тебя есть опыт. Ты выслушаешь меня и дашь совет, ведь верно?

ОН: Читал это он с улыбкой. «Сейчас это называется, – подумал он, – по-английски self-conscious, по-немецки Selbstbewusst, а как же это будет по-польски? Эгоцентризм? Нет. Слишком уничижительно. Самоуверенность и сосредоточенность на своих потребностях? Похоже, на польском это не удастся определить одним словом, как по-английски или по-немецки».

Если это грустно, то не выслушаю. А подозреваю, что грустно. Семидесяти мне еще не исполнилось. И все-таки не рассказывай мне, пожалуйста. Сегодня

ничего печального. Даже не пытайся. Напиши лучше e-mail по адресу Jakub@epost.de. Я борюсь с печалью в среднем 24 часа в сутки. Сейчас я порекомендовал бы тебе крайние средства: химия либо спиртное. А вот завтра я внимательно прочитаю твой e-mail и дам совет.

Впрочем, тебе не нужны советы. Просто ты должна кому-то рассказать, поделиться, а твой психотерапевт сегодня занят или в отпуске.

ОНА: Ты считаешь, что славянам может помочь психотерапевт? Ведь они и так все всегда знают лучше. Кроме того, у меня впечатление, что все психотерапевты в Польше либо пишут книжки, либо организуют издательства, либо состоят на постоянной работе на телевидении или радио. Ты продолжаешь еще оставаться славянином?

ОН: Наверное, уже нет. Я не пью водку, пунктуален, держу слово и не устраиваю восстаний. Но психотерапевт у меня был еще в Польше. Но это было так давно, что его называли еще психиатром, а организация издательства каралась еще суровей, чем самогонование.

ОНА: И помог тебе психиатр?

ОН: Сам психиатр – нет. Но то, что я услышал в его приемной, очень помогло.

ОНА: У тебя был болен разум или душа?

ОН: Минутку! Так не пойдет! Эта дамочка постучалась в монитор его компьютера, как чужой человек в дверь, и теперь собирается вызнать всю его подноготную. Но не успел он отреагировать, как пришло следующее ее сообщение.

ОНА: Да, знаю. Я зашла слишком далеко. Все из-за этой виртуальности. У меня ощущение, что сам факт нашей взаимной анонимности подтолкнул меня задавать такие вопросы, которые я ни за что бы не задала, если бы познакомилась с тобой в поезде или в кафе. Извини.

ОН: Она права. Интернет, он такой. Немножко напоминает исповедальню, а разговоры – нечто наподобие групповой исповеди. Иногда ты оказываешься исповедником, иногда – исповедующимся. Это результат расстояния и уверенности, что всегда можно вытащить штекер из гнезда.

Здесь ничего не отвлекает внимание. Ни запах, ни внешность, ни слишком маленькая грудь. В Сети свой образ создаешь словами. Собственными словами. Никогда не известно, сколько времени штекер будет в гнезде, и потому сразу переходишь к главному и задаешь по-настоящему существенные вопросы. Но даже задавая их, кажется, не ждешь полной искренности. Впрочем, в этом-то как раз он не был уверен. И потому всегда отвечал искренне. «Если не знаешь, что сказать, говори правду». Он не помнил, кто из философов давал такой совет, но философ этот, несомненно, был прав. Кроме того, опыт у него был не слишком большой. До сих пор он вел подобные виртуальные беседы только с аспирантом из Варшавы. Он напечатал:

Ты думаешь, можно отличить больной разум от больной души? Спрашиваю это из любопытства. У меня было все больное. Каждая клеточка. Но это уже прошло. Может, я не вполне здоров, однако, вне всяких сомнений, излечен.

ОНА: Знаешь, а ты меня тронул. Не знаю пока точно почему, но тронул. Мне пора идти домой. Рада, что могла тебе написать. Напишу еще. До завтра.

ОН: Береги себя. Имя у тебя красивое.

Она без предупреждения завершила этот чат. Отключилась от Интернета. Была offline. Исчезла так же неожиданно, как появилась. Уже не прочла его последнее сообщение. Глядя на экран монитора, он подумал, что без нее неожиданно стало

как-то пусто и безмолвно. В нижнем правом углу вновь замигала желтая карточка. Он щелкнул по ней, в надежде, что она снова вернулась. В определенном смысле так оно и было. Хотя не она лично. Просто она оставила на сервере ICQ просьбу к нему:

Внесешь меня в список своих друзей? Пока только в список ICQ.

Он задумался. Когда она так неожиданно покинула этот чат, у него возникло ощущение, как у человека, которого прервали на полуслове. В большинстве разговоров – в реальной жизни – это он решал, о чем говорить и когда заканчивать беседу. А тут у него было впечатление, что в этом интернетовском диалоге контроль был у нее. В течение нескольких минут она вытянула из него то, чего он не рассказал бы никому, если тот не является его другом. Он долго удивлялся себе. С другой стороны, уже заранее радовался завтрашнему контакту.

Он возвратился к программе. Варшавский аспирант оповестил о новой версии своей части, которая ждет его и готова для тестирования. Он ее тестировал и комментировал до позднего вечера, но закончить все равно не смог. В последний раз он открыл ICQ и отправил в Варшаву сообщение, что они получат его отчет не позже чем завтра в полдень. Когда в Варшаве аспирант утром придет к себе в кабинет и включит ICQ, то сразу же увидит его информацию.

С минуту он смотрел на список своих друзей в ICQ. Открывало его на самом верху ее имя. Он думал о ней, и у него было странное ощущение, что сегодня во второй половине дня в жизни его произошла какая-то перемена.

Когда он выключал компьютер перед уходом домой, глаза у него слезились. Он надел куртку и спустился в лифте на первый этаж. Он решил пройти к виадук на автостраде и оттащить свой мотороллер в институт. Заиндевелый, мотороллер все так же стоял у стены виадука. Там по-прежнему пахло гарью. В свете фар подъезжающего автомобиля он увидел, как на другой стороне к поребрику подбегает, распахивая шубу, девица. Под шубой она была голая. Машина проехала мимо, не снижая скорости.

Он узнал ее. Это была та самая румынка. На него мгновенно накатили отвращение и ненависть. Злобно толкая мотороллер, он ускорил шаг почти до бега.

ОНА: Ей вовсе не нужно было сейчас идти домой. Она договорилась встретиться с мужем в 17 часов. Но если бы она продолжила и дальше разговаривать с Якубом, то не успела бы сделать то, о чем внезапно подумала. Неожиданно ей захотелось узнать о нем как можно больше.

Она запустила на своем компьютере программу поиска. В поле запроса вписала его имя и фамилию. В точности так, как он записал их на информационной карте ICQ. Система поиска дала ей двадцать восемь адресов интернет-страниц, на которых он упоминается хотя бы раз. Она принялась открывать их одну за другой.

Большинство упоминаний оказались ссылками на его статьи или доклады, которые он читал на научных конференциях в самых разных экзотических местах. Ее всегда удивляло – да и сейчас тоже удивляет, – почему научные проблемы лучше всего обсуждать в Гонолулу, на Французской Ривьере, в Новом Орлеане, на острове Мадейра, в Сингапуре или в австралийском Кэрнсе у Большого Барьерного рифа... Видимо, даже ученым нужно что-то интересное на вторую половину дня. А быть может, все дело в их женах, которым надоели конференции в этом скучном Париже.

Три первые публикации были на польском языке. Они относились к тому периоду, когда он еще жил в Польше и работал во Вроцлавском университете. Все остальные на английском, и напечатаны они в основном в США. Она не смогла бы сказать, о чем они. Но догадалась, что он занимается разработкой программ, которые используются в генетических исследованиях. Она попыталась понять самую короткую статью, но отказалась, как только обнаружилось, что в словаре иностранных слов, который был у них в конторе, отсутствует большинство терминов, использованных в тексте.

Из короткой биографической справки явственно следовало, что он действительно обладает, «как каждый», всеми этими званиями, которых спокойно хватило бы на четырех человек. Кроме того, на основании дат выхода трех первых польских публикаций она прикинула, что ему не должно быть

больше сорока.

Страница со списком его публикаций, своего рода электронная научная автобиография, имела всего один личный акцент. После названия первой статьи на польском языке он сделал сноску. Текст ее, напечатанный мелким шрифтом, содержал следующую информацию:

«Эта статья является результатом исследований в рамках моей магистерской работы. Ни одна моя публикация не важна для меня так, как эта. Полностью и всецело посвящаю ее Наталье».

Она несколько раз перечитала сноску. Этот мужчина, к которому полчаса назад она обратилась в Интернете, начинал поражать ее. Да, именно так. Поражать. Редко кто признается, что он преисполнен печали. И никто, что он был психически болен. И при этом он был так гениально мудр. И теперь еще вот это. Во-первых, какие-то «секвенции генов», какая-то «оптимизация нелинейных алгоритмов», какая-то «рекурсия второго порядка», а под конец «полностью и всецело посвящаю ее Наталье». Она знает его всего тридцать минут, а уже поймала себя на том, что ревнует его к какой-то женщине.

Она вызвала карточку с адресом электронной почты, который он сообщил ей. Jakub@epost.de. Она принялась писать. Через несколько минут ей позвонил муж, который ждал ее в машине внизу.

– Слушай, – сказала она ему, – подожди меня минут пятнадцать в кафе на той стороне улицы. Мне тут нужно закончить одно важное дело.

У нее было удивительное ощущение, что этот e-mail, который она сейчас писала ему, необыкновенно важен.

ОН: На следующий день он первым был в институте. Кристиана, ассистентка в секретариате, встретила его в кухне у кофейного автомата. Обычно она приходила раньше всех, но и исчезала тоже первая. Смеясь, она бросила ему:

– А я-то думала, что ночные клубы закрываются только в восемь утра.

– Крисси, – ей нравилось, когда ее так называли, – как это тебе удастся в семь утра иметь настроение, какое у туристов на Сейшелах бывает в десять перед завтраком?

Она прекратила смеяться, посмотрела ему в глаза и сказала:

– А ты проведи как-нибудь со мною ночь и узнаешь.

Взяв стаканчик с кофе из автомата, она вышла из кухни. Никогда нельзя было понять, когда Кристиана говорит серьезно, а когда в шутку.

Он выбрал в автомате двойной эспрессо и возвратился к себе в кабинет. Почтовая программа на его компьютере за это время перенесла с институтского сервера все адресованные ему письма. Кроме ежедневно приходящих научных или информационных бюллетеней, раздражающего электронного мусора в виде идиотской рекламы вроде пришедшего сегодня предложения задешево приобрести участок для строительства на Багамах и нормальной научной корреспонденции, сегодня был e-mail от нее.

Его это даже не особенно удивило. Надо сказать, был один момент, когда он ехал на работу в метро и внезапно отложил газету, задумавшись, а сильно ли он будет разочарован, если она больше не напишет ему и исчезнет без всяких объяснений так же, как и появилась.

Ему давно уже не приходилось отрываться от чтения газеты, чтобы думать о женщине.

Он также отметил, что мысли о ней доставляют ему удовольствие. И это удовольствие совершенно другого рода, чем от мыслей о векторном представлении траверсированных узлов в сетках Петри. Абсолютно ничего похожего. Она была вызывающей, подумал он. Да, именно так. Женщину, которую встречаешь в реальной жизни, можно определить как вызывающую по ее внешности, по тому, как она двигается. Но и в Интернете в некотором смысле действовал точно такой же механизм. Вызывающий облик, слишком яркая, не соответствующая времени дня косметика, демонстративное покачивание бедрами или чрезмерно глубокое декольте были заменены в Сети преувеличенной непосредственностью либо провокативными или слишком глубоко нацеленными и чересчур личными вопросами. Такое поведение очень

часто прикрывает неуверенность, робость, страх, комплексы или простую впечатлительность. В метро он задумался, не действует ли и у нее этот же самый механизм. Он не смог сдержать улыбку, вспомнив ее вопрос: «Скажи только, какое у тебя образование».

Потом он поймал себя на том, что ему хочется, чтобы она была красивая. И в этом смысле виртуальность ничегошеньки не меняет. Мужчины до того тщеславны, что жаждут, чтобы даже в Интернете с ними знакомились только красивые женщины. И неважно, что в данном случае красота не играет никакой роли. Она незрима и потому несущественна. Но мужчины, даже совершенно случайно выбранные для знакомства, хотят верить и по преимуществу свято верят, что являются настолько исключительными, что привлекают внимание только красивых женщин. Он представлял себе, как многие из этих мужчин, сидя у своих компьютеров, втягивают животы либо прикрывают остатками волос слишком большие залысины. Этакая инстинктивная реакция истинных самцов, перенесенная с пляжа в Интернет. Неужто эволюция остановилась и только меняет декорации? А может, то, что сейчас происходит, на самом деле называется эволюцией?

По правде сказать, он не знал, что в данном случае означает «красивая». И опять подумал о Наталье. Неужели красивой была только она одна? Неужели так будет всегда?

Да, он был бы разочарован, если бы она не написала ему. Очень разочарован. И, выходя утром из метро, он был в этом абсолютно уверен. Теперь же, увидев этот e-mail, почувствовал... он даже не знал, как это назвать... почувствовал, что она его не обманула. Он сразу начал читать:

Варшава, 30 января

О твоём существовании я узнала около 16:30. Сейчас в Варшаве всего 17:15, а ты уже сумел удивить меня, поразить, заинтересовать, растрогать, вызвать зависть, опечалить и обрадовать. В последнее время у меня мало переживаний, оттого я острее воспринимаю подобные чувства.

Ты был прав, когда сказал, что ни в каком совете я не нуждаюсь. Мне попросту надо было высвободить это из себя, кому-то рассказать. Теперь я даже знаю, что

меньше всего я хотела бы рассказать это тебе. Кроме того, это вдруг стало слишком банальным, чтобы тратить на это твое время.

У меня столько информации о тебе, что мне захотелось, чтобы и ты что-то узнал обо мне. Мне 29 лет, я живу в Варшаве, и уже пять лет с мужчиной, который является моим мужем, у меня длинные черные волосы, а цвет глаз зависит от моего настроения.

Ты даже не представляешь, как я рада, что у меня в компьютере есть ICQ и у тебя тоже.

С 16:30 я радуюсь.

До завтра.

Если позволишь.

Он несколько раз перечитал этот e-mail. И всякий раз, доходя до фрагмента о муже, взглядом перескакивал через несколько слов. А при последнем чтении попросту не заметил его. Включая свой ICQ, он взглянул на часы. «Может, она уже пришла», – подумал он.

ОНА: На работу она пришла гораздо раньше, чем обычно. Муж уезжал утренним поездом в Лодзь, и она попросила, чтобы он взял ее и довез по пути на вокзал до ее фирмы. Муж удивился, зная, как она любит утром поспать. Если бы не два будильника, поднимающие трезвон один за другим, она никогда и ни за что не встала бы вовремя.

А она действительно очень любила поспать. Особенно в последнее время. Ей снились необыкновенные сны. Вечером она из ванной шла в кухню, выпивала кружку теплого молока и заранее радовалась снам, которые она увидит. Иногда она просыпалась среди ночи, прекрасно помня последний сон, пила молоко и вновь возвращалась в сновидение. В то самое сновидение и в то самое место, на котором оно прервалось.

Сны были словно побег. Они с мужем переживали трудный период их брака. Все стало каким-то поверхностным. Муж захлебнулся богатством, которое приносили ему его проекты. Он впал в зависимость от денег и работы. Никогда раньше у него не было денег, и теперь он не умел справляться с ними. Внезапно все, что можно было купить, оказалось вполне достижимым. Нужно было только реализовать очередные проекты. Машина, стоящая у дома. Новая квартира в хорошем районе, где эта машина не казалась диссонансом. Всякая техника, которая через полгода оказывалась устаревшей.

Он работал с рассвета и до рассвета, воскресенье путал с четвергом. Покупал новую технику. Брал новые проекты. «Еще один год, и все. Мы только купим тебе машину и дачу около леса», – говорил он, когда она спрашивала, нельзя ли продлить уик-энд на денек и поехать в Закопане.

«И вообще просто поговорить, как раньше», – думала она.

Они не разговаривали «как раньше» уже очень, очень давно. У них становилось все больше техники и все меньше общения. Как-то она, не подумав, пожаловалась на это матери. И услышала, что она дура, не понимающая, какой замечательный, работающий муж ей попался. Ее родители радовались каждому новому приобретению в их доме так, словно они сами это купили. У нее было впечатление, что отец, если бы только мог, приходил бы к ним на ночь и помогал бы ее мужу делать все эти проекты. Они гордились ее богатством и с наслаждением рассказывали о нем всем, кто желал, а порой и не желал слушать.

Они гордились зятем, а она увлеклась бельгийцем. Они встретились снова меньше чем через два месяца после той берлинской «сходки». В Варшаве. Когда он явился к ним в контору с букетом цветов, загорелый, пахнущий хорошим одеколоном и, как всегда, безукоризненно элегантный, и сказал секретарше, что забирает «мадемуазель» – хотя прекрасно знал, что она замужем, – на бизнес-ланч в «Бристоль», она почувствовала себя выделенной из всех.

У него было время. Снова у мужчины было время на нее! Он слушал ее, был остроумен, деликатен, предупредителен и привлекал к себе взгляды всех женщин в ресторане. После он присылал ей мейлы и толстые, яркие, пахнущие его одеколоном приглашения на совместные поездки в Париж, Будапешт или Берлин. Порой она задумывалась, а что бы на самом деле произошло, если бы она набралась смелости принять однажды такое приглашение.

А он звонил. Говорил спокойным голосом. Слушал. Шептал. Иногда шептал по-французски. Это ей нравилось больше всего. В серой, скучной жизни их фирмы он был как открытка, присланная из отпуска и пробуждающая мечты о переменах и экзотике. Она уже начала считать, что является для него кем-то исключительным.

А меньше месяца назад, сразу же после Нового года, их фирма устроила встречу в Щирке с самыми крупными своими клиентами. И он тоже должен был там быть! Она знала, что он приехал раньше и встречал в Щирке новогодний праздник. Она с радостью предвкушала эту поездку. Правда, чуть-чуть побаивалась возможных сценариев, возникавших у нее в голове в связи с ним, но, невзирая на это, а может, как раз благодаря этому, была счастлива и возбуждена.

Она устроила так, чтобы быть в Щирке днем раньше. Хотела сделать ему сюрприз. В пансионат она с вокзала приехала на такси. Уставшая после целого дня в поезде. И первое, что она увидела, когда вошла в ярко освещенный холл, где находилась стойка портье, был «ее» бельгиец, сидящий в баре рядом с портье и целующий маленькую шатенку, которая с готовностью подставляла его губам шею, куда и были нацелены его поцелуи. Они держались за руки. Ее он не заметил, так как сидел спиной ко входу.

За все три дня пребывания в Щирке она не обменялась с ним ни словом, если не считать вежливых «здравствуйте». В принципе, у нее не было никакого права на его верность и даже что-либо гораздо менее существенное в том же роде. Кроме его ухаживаний и интереса к ней, а также того, что у нее закружилась голова, ничто их не связывало. Но бельгиец вполне мог не знать о том, что у нее закружилась голова, и имел полное право целовать в шею всех шатенок в этом пансионате.

И тем не менее она чувствовала себя уязвленной и преданной. Исподтишка она присматривалась к нему во время этой встречи в Щирке. И теперь он не казался ей таким уж безукоризненным. Оказывается, он очень низкорослый и делает чудовищные ошибки в английском. А сверх того, в один из вечеров она увидела в баре, что он уложил прическу гелем. Ей показалось это смешно и до неприличия претенциозно.

Тем не менее ей нужно было время, чтобы излечиться от бельгийца. Она пыталась сблизиться с мужем и найти у него хоть капельку нежности, в которой она так нуждалась. Она жаждала обычного разговора. О книжке, о фильме, о предназначении. О чем-то, что не связано было с будничными делами, покупками, деньгами и воскресными обедами у матери. Но у мужа не было для нее времени в перерывах между работой над проектами. Да, по сути дела, и перерывов этих не было.

И тогда она начала видеть сны. Она выпивала молоко, ложилась в постель и смотрела сны. Утром просыпалась словно очистившаяся. Как будто все, что мучило или беспокоило ее, она пропустила через фильтр подсознания и очистила в сновидениях. Однажды, но это уже было гораздо позже, она затронула эту тему в разговорах с Якубом. Он написал ей нечто, с чем она полностью согласилась:

«Сон, всякий сон – это психоз. Со всем, что присуще психозу: смешением чувственных ощущений, безумием, абсурдом. Своего рода кратковременный психоз. Безвредный, начинающийся с согласия человека и кончающийся по его воле пробуждением. Очищающий. Так, по крайней мере, утверждает Фрейд. А он был знаток этой сферы».

Но со вчерашнего дня все стало иначе. Бельгиец вдруг оказался несущественным. Точь-в-точь как соученик из начальной школы, чье имя припоминается, словно в тумане. Сегодня ей опять снился сон, но утром она прервала сновидение без обычного недоверия, что это действительно конец и что надо начинать думать. Сегодня ей хотелось как можно скорей приехать на работу. Вчера она открыла чуть больше десятка из двадцати восьми интернетовских страничек с его именем и фамилией. И сегодня хотела, прежде чем войдет в ICQ, просмотреть остальные. Поэтому она рано встала и попросила мужа подвезти ее к фирме. Чтобы у нее было время заняться этим, прежде чем придут остальные сотрудники.

Она открывала страницу за страницей. И уже утрачивала надежду. Всюду информатика, генетика, какие-то бессмысленные отчеты о конференциях, статьи, которые были выше ее понимания. То была, кажется, предпоследняя страничка в списке из 28 адресов. Она щелкнула мышью и появился текст: «Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака». Она улыбнулась. Подумала, что это поразительно мудрая просьба. Потом улыбалась почти все время. Это была его собственная, личная интернет-страничка! Тоже

генетика, но на этот раз его собственные гены.

Он рассказывал о себе. Она знала, как нелегко выбрать интересную информацию о себе и выставить ее для всеобщего обозрения на веб-странице. Когда-то она тоже подумывала сделать в Сети свою страничку, но отказалась от этого намерения – главным образом потому, что не знала, что рассказать о себе, чтобы это не выглядело безвкусно и банально.

А он очень здорово обошел эту трудность: он сосредоточился на других и через других рассказывал о себе. Он говорил, как важны для него Моцарт, Шопен, Моррисон, какие стихотворения Рильке он знает наизусть, а какие только собирается заучить (кстати, мысленно улыбнулась она, кто в наше время еще учит стихи наизусть?). Рассказывал, какие книги читает и что о них думает, а какие больше никогда в жизни не возьмет в руки. Представил химические формулы некоторых веществ и очень интересно рассказал, как чувствует себя при их недостатке или избытке. Она была потрясена, читая, что с человеком может сделать допамин и на что нужно обращать внимание, чтобы справиться с дефицитом или переизбытком тестостерона.

Он демонстрировал неправдоподобно красивые фотографии Нового Орлеана и убеждал всех, что это один из самых замечательных городов на свете. Кроме Нового Орлеана, он упоминал Дублин, Бостон, Вроцлав, Принстон, остров Уайт (она не имела ни малейшего представления, где находится этот остров), Сан-Диего, Куала-Лумпур и Краков – словно станции на линии пригородной железной дороги. У его мира не было границ. Он рассказывал о науке, о Вселенной, о мудрости и мозге. Мозг был его страстью.

Когда позже она проанализировала его страничку, то пришла к выводу, что он, скорей всего, человек несмелый. Он не мог напрямую писать о себе. Он рассказывал о том, что думает, что чувствует, чем восхищается и даже хочет, ссылаясь на стихи, авторитеты и науку.

Из этой страницы она не узнала ничего, что могло бы ее встревожить. На ней не упоминалась женщина – за исключением женщины из стихотворения Рильке, – которая занимала или сейчас занимает какое-то место в его жизни. Для нее это была ценная информация.

Если бы ей нужно было одним словом охарактеризовать его на основе этой интернет-страницы, то она использовала бы, пожалуй, одно-единственное – впечатлительность. А вторым словом, пришедшим ей на ум сразу же после впечатлительности, было «печаль». Его страница была исполнена печали. Печали и грусти. Она не знала, по чему или по кому, но ей было совершенно ясно: он грустит.

Ну а кроме того, вся его страница была похвалой мудрости. Она задумалась, прочитав последнюю фразу: «Будь мудрей других и не показывай им этого...» В этот момент пришла секретарша, которая не сумела скрыть удивления, увидев ее за компьютером. До сих пор – а они работали вместе уже пять лет – не случилось такого, чтобы она пришла раньше секретарши. Та, правда, ни словом это не откомментировала, но было видно, что она ищет повод пройти к ксероксу или полкам с делами у окна и по пути бросить взгляд на экран монитора.

Секретарша эта была самое любопытное существо из всех, кого ей довелось встречать в жизни. И теперь всякая аноректически худая женщина – а именно к такому типу принадлежала секретарша – автоматически ассоциировалась у нее с безмерным любопытством. А уж эта ее худоба! Непристойная, провокационная, вызывающая и недостижимая худоба! После взгляда на нее не хотелось пить даже минеральную воду, потому что возникало подозрение, будто и в ней слишком много калорий. Как-то ей пришло в голову, что секретаршу при ее худобе вполне можно переслать по факсу.

Мнение об аноректически худых женщинах начало у нее медленно, но неуклонно меняться только после того, как польское телевидение приступило к демонстрации сериала «Алли Макбил». Когда она стала обнаруживать некое сходство с собой в невротических отклонениях либо поведении сверхвпечатлительной главной героини, такой же тощей, как их секретарша, ее предубеждение начало потихоньку развеиваться.

Она закончила чтение его Интернет-страницы и ощутила тревогу.

«Только бы он был, только бы захотел быть, только бы не исчез», – обеспокоенно подумала она.

Она включила свой ICQ. Он был online.

Она напечатала: «Якуб, я по тебе скучала».

ОН: Он работал. Заканчивал тестировать программу для отсылки в Варшаву. Точнее, ждал, работая. Наконец-то! ICQ дал знать, что она online. Он щелкнул на мигающей желтой карточке в правом нижнем углу экрана.

Никакого «здравствуй», никакого «как себя чувствуешь?». Сразу же: «Якуб, я скучала по тебе». Он стиснул зубы. Как всегда, когда случалось нечто, с чем он не знал, как справиться или как отреагировать. Его отец тоже так делал.

Он уже давно, то есть много лет, был убежден, что никто по нему не скучает. Это был его собственный выбор. Нет ничего несправедливее, чем скучать по кому-то без взаимности. Это даже хуже, чем любовь без взаимности. Стократ хуже. После Натальи он уже ни по кому и ни по чему не мог скучать. Как будто все в нем выгорело. Разве что иногда по родителям. Верней, не скучал, а тосковал. В дни их рождения, годовщины смерти или день поминовения усопших.

И ему казалось, поскольку сам он не был способен скучать, что честней жить так, чтобы и по нему никто не скучал. Но и это не получилось. После того послания от Дженнифер он понял, что не всегда удастся так жить. Это случилось не то в апреле, не то в мае прошлого года. Ему никак не забыть то парализующее чувство вины, какое он ощутил, прочитав в поезде, следующем из Берлина в Варшаву, ее электронное письмо. Раньше ему не доводилось читать столь потрясающего рассказа о том, как можно тосковать по другому человеку. Он напечатал:

Здравствуй. Как я рад, что ты есть. Я ждал тебя.

Ждать. Не то ли это же самое, что скучать?

Она открыла чат.

ОНА: Нет. Для меня нет. Когда я жду, я не просыпаюсь в 5 утра, отказываясь от самых лучших снов. И не прихожу на работу, когда еще нет семи. Когда я жду, молоко не кажется мне безвкусным. А когда скучаю, да.

ОН: Запомню. Особенно насчет молока. Я спросил, потому что мне казалось, что уже много лет по мне никто не скучает. И когда вместо «здравствуй» я читаю такое, то в первый момент мне захотелось обернуться и посмотреть, не сидит ли кто-то позади меня. Но позади меня никто не сидит.

ОНА: Это было написано тебе. Только тебе. У меня впечатление, что ты привыкнешь. Вот увидишь.

ОН: Расскажешь что-нибудь о себе? Я уже знаю. Что ты видишь сны. Любишь молоко и скучала по мне. А можно узнать что-то еще?

Большие ли у тебя глаза? Лоб высокий? Ножка маленькая? Засыпаешь ли ты на боку? Пушистые ли у тебя волосы? Говоришь ли ты по-английски? Любишь ли ходить под дождем? Любишь ли оперу? Облизываешь ли губы языком? Веришь ли в Бога? Любишь ли ягоды?

ОНА: Вопросы на экране появлялись один за другим. Как будто у него был готов какой-то неупорядоченный список, и он просто перепечатывал его. Некоторые вопросы никто ей ни разу не задавал. Никто никогда. И муж тоже. А она с ним живет уже пять лет. Она напечатала:

Скажи только одно: почему ты все это хочешь знать?

ОН: Потому что... я тоже скучал по тебе.

ОНА: Я все тебе расскажу. У нас ведь, правда, много времени?

Уже с первого дня разговоры с ним были подобны переживаниям, которые не забываются. Объяснений она бы привести не смогла, но не считала, что происходящее между ними развивается слишком быстро. Вчера в эту пору она его еще не знала. А сегодня через минуту ответит ему, на каком боку она засыпает. И если бы он спросил ее, спит ли она голая, она без колебаний ответила бы: да, голая. В Интернете ли причина или в отсутствии у нее переживаний, а может, это просто он так действует на нее, заставляя быть такой откровенной? А возможно, ей хочется наконец рассказать кому-то о себе и быть уверенной, что этот кто-то хочет выслушать ее и у него есть на это время?

ОН: Внезапно ему захотелось знать о ней все. И неважно, что он ее не видит. Она сама расскажет ему то, что он мог бы увидеть. Расскажет своими словами. И это будет именно так, как хотела бы она, чтобы он видел ее. И он в это поверит и такую будет забирать ее – мысленно – домой и в свое воображение. Ибо в Интернете самое главное – слова и воображение.

Каждый разговор, каждая встреча с нею в Интернете воссоздавали настроение свидания. Они были по-своему торжественны, он ждал их, и никогда не было известно, как они кончатся. Кроме того, фраза «Якуб, я скучала по тебе», которой она каждое утро приветствовала его, всякий раз его трогала.

Приветствовала она его так почти каждый день. За исключением суббот и воскресений. И оттого в понедельник это «Якуб, я скучала по тебе» звучало как подтверждение, что все продолжается. Потому после 30 января понедельник стал его любимым днем недели.

С понедельника по пятницу они разговаривали обо всем. О Боге, о деньгах, о погоде в Варшаве, о том, какой крем лучше всего для смешанной кожи, об Интернете, о генах и хромосомах, о цвете ее волос, об оттенке ее голоса, о методах предупреждения беременности, о музыке, об упадке философии, о математике. О запахе ее духов вечером и утром. Обо всем. Любая тема, если он обсуждал ее с ней, становилась захватывающей. Любая что-то сообщала о ней.

Он потряс ее сообщением, что у него нет машины и что он с радостью, как только кончится зима, вновь оседлает свой мотороллер. Он никогда не забудет

ее юмористический комментарий:

У тебя нет машины? В Германии без машины? – удивилась она. – А что же ты делаешь в уик-энды? Ведь немцы в уик-энд занимаются главным образом мытьем своей машины. Я слышала, что в Германии только душевнобольные, студенты да коммунисты не моют по субботам свои машины.

А потом приписала, что если все-таки он решится купить что-то, чтобы было что мыть по субботам, то пусть купит внедорожник, лучше всего полноприводный «Мицубиси».

Но ты все это прекрасно знаешь и без меня, – приписала она в конце.

Само собой, ничего этого он не знал. Впрочем, у него не было и малейшего желания знать. Это должен знать продавец в фирме «Мицубиси». Но тот факт, что она знала подобные вещи, показался ему... очень «секси». Этот совет относительно полного привода она дала ему в конце дня. А он после ланча никак не мог остановиться и все попилал прекрасное «Мерло» из Чили, которое он совсем недавно открыл. Он представил себе, что они на природе, очень и даже очень off-road, и у них просто замечательные возможности исследовать полный привод...

Разумеется, не знаю, – ответил он, – но запомню: полный привод.

И добавил, тотчас же пожалев об этом:

Какого цвета белье на тебе сегодня?

Уж слишком это было впрямую. Они были знакомы всего два месяца. Она не ответила. Только спросила:

А какого цвета белье ты охотнее всего снял бы?

Если бы она спросила, например: «А какой цвет тебе нравится больше всего?» – это не произвело бы такого действия.

Зеленый. Все оттенки зеленого, – ответил он ей.

Зеленый. Запомню. А сейчас, Якуб, я должна уже идти. Не работай слишком много в этот уик-энд.

И она исчезла, не дожидаясь ответа, оставив после себя лишь уведомление системы ICQ: User went offline.

Как он ненавидел это уведомление! Особенно по пятницам в конце рабочего дня. Внезапно в его кабинете становилось так пусто. И в нем поднималось чувство, являющееся смешением горечи, обиды на нее, разочарования и одиночества. Всего сразу.

Он прекрасно знал, что тут нужно просто переждать. А кроме того, выбора у него не было. Она не принадлежала ему. И потому всегда в пятницу у него в кабинете или в холодильнике в кухне вина было больше. Когда она выходила из ICQ и возвращалась в свой реальный мир, там, в Варшаве, он залпом выпивал бокал вина и тотчас же наливал следующий.

Началось это у него уже в начале марта. В середине апреля он обнаружил, что уик-энд – это такие два дня, в которые незачем идти на работу. А с конца апреля он скучал по ней уже по-настоящему. Случалось, что в субботу вечером он садился на мотороллер и ехал через весь Мюнхен в институт, чтобы проверить, не написала ли она ему. «Может, она что-нибудь оставила на работе и пришла в субботу забрать, а там компьютер стоит, вот она и написала», – думал он.

Однако же нет. Ничего она на работе не оставляла. И в субботние вечера в его электронном почтовом ящике не было никаких посланий от нее. Каждый раз он чувствовал себя слегка разочарованным, но ни разу ей об этом не сказал. А потом наступал понедельник. У кофе был такой замечательный вкус. Он включал компьютер. Маленькая желтая карточка сулила конец ожиданию. Он щелкал по ней, читал: «Якуб, я по тебе скучала», и обещание исполнялось. На целых пять долгих дней. До пятницы.

Только в пятницу утром нужно было не забыть купить побольше вина по дороге на работу.

ОНА: С тех пор как она стала переговариваться с ним по ICQ, служебный кабинет превратился как бы в место тайных свиданий. И все ей в нем стало вдруг нравится. Компьютер, прежде такой серый, слишком большой и слишком шумный, цветы на подоконниках, которые она забывала поливать, ее старинный письменный стол, и даже запах новых духов секретарши, чья удобность перестала быть неким укором, когда она что-нибудь ела при ней, даже йогурт нулевой жирности. Секретарша вдруг прекратила быть для нее существом с фотографии из репортажа о голодающей Эритрее. Теперь она могла съесть при ней целый кулек «коровок» и ни разу не подумать о калориях.

Вдруг ей стало безразлично, что муж опять взял несколько проектов на несколько следующих месяцев и что совершенно точно до конца сентября они не поедут в отпуск в Закопане, да и вообще никуда. Примерно с конца марта главным для нее стало прочитать утром e-mail от него, до обеденного перерыва сделать как можно больше из того минимума, что от нее требовали в фирме, и сразу же потом встретиться с ним по ICQ. Идеальным вариантом было разговаривать с ним до самого ухода. Но такое удавалось редко, так как обоим приходилось работать. Но иногда все-таки получалось. Однако всегда перед ее уходом с работы они встречались в Сети, чтобы попрощаться, – если только он находился у себя в кабинете в Мюнхене, а не путешествовал или не вынужден был выйти до нее.

Они разговаривали практически обо всем. Каждый будничным день обо всем, что становилось небудничным. И с каждым словом, с каждой фразой он делался ей все ближе. Она никак не могла вспомнить, чем заполняла время в этом кабинете, прежде чем отыскала его.

Не разговаривали они только о ее муже и его женщинах. Эти две темы им так и не удалось ввести в их беседы. То, что не возникала тема ее мужа, было как бы следствием неписаного уговора между ними. Когда же она заметила, что, описывая свою жизнь, он полностью умалчивает о том, что она обозначала множественным числом, она решила перейти на единственное. Поначалу она не понимала его позиции. Позже, когда они стали необходимы друг другу и их дружба, хоть они и не называли ее так, постепенно становилась чем-то, преисполненным нежности и интимности, она поняла, что так будет гораздо лучше. И для нее тоже.

Тему его женщин она затрагивала напрямую либо укрывала в вопросах или в провокациях к комментариям. Чаще всего он просто-напросто игнорировал

такие вопросы. Но изредка реагировал, отвечая:

Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Подробнейшим образом. Но не теперь. Извини.

Она узнала только, что сейчас он одинок и единственная женщина, с которой он беседует о любви и «Героической симфонии» Бетховена, – она. Это ее успокоило, но не надолго. Тревожная жажда узнать его прошлое не отпускала ее.

А он был такой деликатный. Загадочным образом чувствовал, почти безошибочно, ее настроения. Никогда не пытался развеселить ее шуткой, если подозревал, что ее грусть отнюдь не является оборотной стороной смеха. А однажды ни с того ни с сего спросил:

У тебя всегда эти периоды проходят болезненно?

Откуда он знал, что она испытывает страшные боли? В такие дни он не пытался с ней дискутировать, так как прекрасно знал, что женщины в этот период часто бывают непредсказуемы. Чаще всего что-нибудь ей рассказывал, не выспрашивая ее мнения. Начинал он обычно так: «А сейчас сядь поудобнее, расслабься и слушай». В один из таких дней она спросила его:

Якуб, тут везде говорят, пишут, а теперь даже и поют о генах. Каждый считает своей обязанностью иметь собственное мнение на эту тему. Я знаю, что в Америке занимаются дешифровкой генома. Это обязательная тема не только разговоров, но и восторгов. Нынче прямо-таки полагается восхищаться геномом, и не только собственным. Расскажи мне, пожалуйста. Как расшифровывают этот самый геном. Так, чтобы я поняла. При этом прошу не забывать, что меня ничего не связывает с генетикой, кроме того, что я знаю тебя и имею гены.

Предполагая долгий разговор, она включила чат.

ОН: Почему тебе захотелось узнать это именно сейчас?

ОНА: Главным образом потому, что ты уже давно не рассказывал мне ничего интересного, а ты ведь знаешь, как я люблю читать то, что ты рассказываешь. А кроме того, я на уик-энд пригласила нескольких знакомых. Одного из них я не выношу, терплю только потому, что он является мужем и в этом качестве самой большой жизненной ошибкой моей сотрудницы, с которой я дружна. Обычно он прочитает что-нибудь в энциклопедии и весь вечер выпендривается. Мне уже давно хочется проучить его. Я громогласно спрошу его за столом, как на практике дешифруется геном. Уверена, что этого он еще не прочитал, и тут-то я при всех растопчу его своей эрудицией. Точней сказать, твоей. Надеюсь, после этого вечера он будет посылать к нам свою жену, а его ноги в нашем доме больше не будет.

ОН: Прекрасный повод. Ты просто восхищаешь меня своими идеями. А с геномом все довольно просто.

ОНА: Погоди минутку. Я только что устроилась поудобнее в кресле. Когда я держу ладонь на животе, мне не так больно. Ну а теперь рассказывай.

ОН: Хорошо, но сначала скажи мне, какой у тебя живот. Плоский, выпуклый, загорелый или совсем белый?

ОНА: Пожалуй, с этого дня и с этого вопроса постоянной темой в их беседах стала телесность. Вопрос этот был – как ей показалось – тестом, как далеко можно зайти, спрашивая про ее тело.

«Уже давно он мог бы зайти куда как дальше», – растроганно подумала она, прочитав этот вопрос.

Впоследствии ее тело часто становилось темой их разговоров. Деликатно, но систематически он расспрашивал ее обо всем. Больше всего его интересовали ее глаза, губы, руки. Однажды он написал:

Я вчера был в парфюмерном магазине и видел, как женщины с удовольствием прыскали себе на внутреннюю часть запястья новые духи, а потом нюхали их. Глядя на них, я вдруг понял, с каким наслаждением я целовал бы твои запястья.

И он сразу же задал тот самый вопрос. Впервые он отважился на такое. До той поры он старательно обходил все темы, которые могли бы вынудить ее рассказать что-то о других мужчинах в ее жизни. Из прошлой или из нынешней. А тут он вдруг спросил:

Кто-нибудь целует тебе запястья?

Ей тогда стало так грустно. Она коснулась пальцами экрана монитора. И почувствовала, что должна ответить.

Никто никогда не целовал и не целует мне запястья. Ни с какой стороны. До тебя никто даже на секунду не проявил интереса к моим запястьям. – И она тут же допечатала: – Когда мы встретимся, ты ведь будешь их целовать, да?

Тогда он ей ничего не ответил.

ОН: Наверно, я не дождусь от тебя ответа. Расскажешь мне про свой живот в другой раз.

А теперь вернемся к геному. С тех пор как появились компьютеры, определение последовательности строения ДНК, которая содержится в ядре каждой клетки, стало задачей не столько генетиков, сколько программистов. И поскольку всю работу, если уж честно, ведут они, я с них и начну. Генетики и биологи только предложили идею, как предоставлять им данные для обработки. А данных этих много, безумно много. И сейчас ты поймешь, как много.

Как ты, несомненно, знаешь, ген – это не что иное, как последовательность около 3,5 миллиарда простых органических оснований, которые располагаются подобно ступенькам лестницы между двумя нитями из фосфата и сахара. Эти тончайшие нанометрические нити свиваются в знаменитую двойную спираль, о которой нынче у каждого есть что сказать.

Благодаря химическим связям основания образуют пары, составляющие ступеньки лестницы, которые соединяют обе нити. У этих оснований есть названия: гуанин, цитозин, аденин и тимин. Но куда известней их инициалы – Г, Ц, А, Т. Расшифровка генома состоит всего лишь в установлении очередности пар АТ и ЦГ в этой лестнице. Не более того. Необходимо установить очередность около 3,5 миллиарда пар букв АТ или ЦГ. Много ли это? Если бы каждая буква А, Т, Г и Ц была шириной всего один миллиметр, то после расположения всего генома в ряд он оказался бы длинней голубого Дуная. А это как-никак самая длинная река в Европе. Чтобы прочесть их все, потребовалось бы более ста лет. Немало, да?

Чтобы переработать столько данных, нужно иметь много компьютеров и хорошие программы. У одной из главных фирм, уже давно занимающейся расшифровкой генома, операционная мощность компьютеров, установленных в ее лаборатории в Роквилле, значительно больше, чем во всем Пентагоне. К счастью, никому это не мешает. Без этого нельзя даже и думать о расшифровке ДНК. Количество информации, производимой генетической лабораторией средней величины, в 20 тысяч раз больше, чем та, что заключена во всех произведениях, созданных гениальным и исключительно творчески плодовитым Бахом в течение всей его жизни.

Как получать данные о последовательности оснований в ДНК, придумали, разумеется, биологи и генетики. Пятнадцать добровольцев в США, которым гарантировали сохранение анонимности, дали согласие на извлечение нитей ДНК из ядер клеток их крови и спермы. Нити эти ввели в клетки любимой биологами-экспериментаторами бактерии *E. coli*, и клетки эти, содержащие человеческую ДНК, размножаются в сногшибательном темпе. Колонии *E. coli* производят ДНК, как маленькие фабрики. Над этими колониями перемещаются роботы, которые проверяют размноженные бактериями *E. coli* нити ДНК, отбирают лучшие экземпляры, а также делят нить на 60 миллионов коротких фрагментов. Каждый такой фрагмент содержит не более 10 тысяч пар АТ или ЦГ. Фрагменты эти отправляются в капиллярные трубки, составляющие часть технологически изощренных устройств для дешифровки генома.

Я могу, конечно, сообщить тебе названия и параметры роботов и этих устройств, чтобы ты могла окончательно пришить этого умника, питающегося энциклопедией. Скажи мне, если ты хочешь.

Капиллярные трубки засасывают кусочки нитей ДНК. Они перемещаются вдоль стенок капилляров вверх и ступенька за ступенькой выходят наружу. А Т Ц Г Ц Г А Т... и так далее. Каждая такая ступенька или пара оснований, как только она выходит из капилляра, тут же освещается сильным лучом лазерного света. А поскольку ступенька – это основание, то есть химическое соединение, она испускает флюоресцирующий свет определенного спектра. Спектр пары оснований, вышедших наружу из капилляра, тотчас преобразуется в численную величину и передается в компьютер для анализа.

Лазер, направленный на капилляр, излучает свет с частотой в диапазоне синей части спектра, оттого слегка затемненные лаборатории, где анализируется ДНК, выглядят, если смотреть на них в окна, как таинственные голубые залы из научно-фантастических фильмов. Как-то я провел несколько дней в одной из таких лабораторий в Бостоне. По вечерам я иногда подходил к окнам, за которыми в голубоватом полусвете цвета ясного неба роботы и тончайшие механизмы пытались расшифровать то, что, возможно, зашифровал Творец. И когда забываешь обо всех этих компьютерах, лазерах и капиллярах, можно подумать о том, что ты являешься свидетелем гигантского труда, предпринятого человеком. И мне неизменно тогда приходили мысли о мудрости, о Боге и о том, какое это великое счастье – участвовать в таком труде.

Знаешь ли ты, что синева, царящая в лабораториях, может быть так же прекрасна, как синева моря?

Ты по-прежнему сидишь в кресле и читаешь этот текст или уже заскучала и уснула? Боль уже немножко прошла?

ОНА: Когда он закончил писать, она продолжала неподвижно сидеть в кресле и думала, что совершенно случайно повстречала необыкновенного человека. И что ей хочется, чтобы он был всегда. Рядом с ним, как ни с кем другим на свете, она чувствовала себя по-настоящему избранной и единственной.

Впервые, сидя в этом кресле, она испугалась, что он может перестать быть частью ее жизни. Она уже не представляла себе такого. И задумалась, почему ощутила это именно сейчас, читая о синеве лабораторного зала, где машины занимались расшифровкой гена.

ОН: Рассказывая тебе все это, я начисто забыл про собрание, о котором нам объявили еще на прошлой неделе. В последнее время я с тобой забываю о многих вещах. Только что мне позвонили и сказали, что все ждут одного меня. Придется идти. Прямо сейчас. Извини.

Встретимся позже. Береги себя.

ОНА: Он ушел, и сразу стало так пусто и ужасающе тихо. Она напечатала:

Вдруг так тихо сделалось в моем мире без тебя.

@3

ОН: Собрание затянулось. Только через два с лишним часа он смог вернуться к компьютеру у себя в кабинете.

Он взглянул на часы. Было уже очень поздно.

«Ее уже определенно нет online», – разочарованно подумал он, глядя на мигающую в правом нижнем углу экрана монитора желтую карточку, оповещающую о ее сообщении.

Он щелкнул по карточке и прочел. И сразу почувствовал, что задыхается. Тревога, страх и стеснение в грудной клетке. У него дрожали руки. Он-то думал, что это уже прошло, присыпанное толстым слоем песка событий его жизни, с лихвой искупленное всем, что он пережил после тех дней. Однако запись боли в одном пространстве памяти нельзя стереть записями счастья в других.

Он прочел это одно-единственное предложение, и все вернулось. С тем же отчаянием, болью, слезами, неконтролируемым подергиванием век, стискиванием кулаков и бессилием. Точно так же. Как тогда, он почувствовал солоноватый привкус крови из прикушенной губы. Короткое, неглубокое дыхание. Это вернулось с абсолютно всеми симптомами. Даже с тем же

неодолимым желанием закурить. А он ведь уже семь лет не курил.

Подперев левой рукой подбородок, он, как парализованный, сидел перед монитором и со слезами на глазах вглядывался в эту фразу. Через минуту он осознал, что не хотел бы, чтобы кто-нибудь сейчас вошел к нему в кабинет и увидел его в таком состоянии. Он встал со стула и пошел в душевую. Освежившись холодной водой и придя немного в себя, он возвратился к компьютеру и написал ей e-mail.

Ты неоднократно спрашивала меня о женщинах. Но смирялась с тем, что я или не отвечаю, или откладываю ответ на неопределенное время. Но вот ты написала это предложение, и настала пора рассказать тебе об этом. Правда, делаю я это скорее ради себя, чем для тебя. То, что ты прочтешь, иногда будет ошеломляющим и, вне всяких сомнений, преисполненным печали. Поэтому, если не хочешь печали, не читай это сейчас. И поэтому я пишу тебе e-mail вместо того, чтобы рассказать это по ICQ. Основная причина – чтобы ты могла выбрать момент, когда решишь это прочитать.

Не читай, если тебе плохо. Тебе станет еще хуже. Прочти, когда ты будешь в серьезном настроении и склонная к рефлексии. И не плачь. Все было оплакано уже столько раз.

Представляешь, я даже понятия не имею, как могут выглядеть твои глаза, когда в них стоят слезы.

В принципе, в моей жизни до сих пор имела значение только одна-единственная женщина. Ее звали Наталья. Встретила она меня случайно. И тоже в январе. В точности как ты меня.

В тот день очередь к окошку с супом в политехнической столовке была исключительно длинной. Я сидел рядом с окошком, как раз напротив тазиков с ложками и хлебом к супу. Девушка с черными волосами, повязанными шелковым платком, и в обтягивающей коричневой юбке в цветочек стояла в очереди вместе с элегантной пожилой женщиной. Они не разговаривали, но было видно, что они вместе. Девушка получила тарелку супа. Она уже подходила к тазу с ложками, и тут кто-то нечаянно толкнул ее. Я ощутил горячую жидкость на руках и на лице. От боли я вскочил со стула. Она поставила тарелку на мой стол.

Мы стояли лицом к лицу. Я уже собирался сказать какую-нибудь грубость, но глянул на нее. Она испуганно смотрела на меня. Должно быть, выглядел я плачевно – с остатками супа на волосах, лице, рубашке. Она молитвенно сложила руки и смотрела на меня с таким испугом в глазах. Она прикусила губу, и глаза у нее были полны слез. Она смотрела на меня и ничего не говорила. В какой-то момент она издала непонятный, странный звук, повернулась и побежала. Мне стало не по себе.

– Не убегайте! Ничего страшного не произошло. Вы меня не ошпарили. Правда. Ничего не произошло.

Пожилая дама из очереди побежала следом за ней.

Так я впервые столкнулся с Натальей.

С того дня мне страшно хотелось снова встретить ее. Воспоминание о ее огромных зеленых глазах, полных слез, и молитвенно сложенных руках не давало мне покоя. Я приходил в столовку, садился на то же самое место напротив окошка – если было занято, я дожидался, когда оно освободится, – и высматривал ее. Я приходил в разное время. Но ее не было. Ее не было больше месяца.

Как-то в воскресенье я ехал в трамвае в библиотеку. Набит он был битком. Люди как раз возвращались из костелов. Я стоял лицом к окну и на одном из поворотов почувствовал, как кто-то давит на меня и прижимает к стеклу. Я обернулся. Выбора у нее не было. Она стояла, всем телом прижатая ко мне. Была она чуть ниже меня. Ее глаза пристально всматривались в мои. Я чувствовал ее волосы у себя на лице. Удивленный, я выдавил из себя:

– Это вы...

Она закрыла глаза. Ничего не говорила. Мы ехали, притиснутые друг к другу. Мне хотелось, чтобы это кончилось. Как можно скорей. У меня была эрекция, и она, несомненно, чувствовала ее.

Я вышел не у библиотеки, а на той же остановке, что и она. Прячась, я пошел за ними. Потому что она опять была с той элегантной женщиной. Они свернули на улицу рядом с остановкой. Я запомнил, в какой они вошли дом. Я потом часто

приходил к нему. Высматривал ее. Через несколько недель я уже знал, в котором часу она выходит, когда возвращается, какой у нее зонтик, какие туфли, как она ходит, в каком окне чаще всего появляется, в какие садится трамваи. Всюду она ходила в обществе той элегантной женщины.

Она была красива. Слегка вздернутый носик, вишневые губы, зеленые глаза. Волосы либо зачесанные коком, либо распущенные. Всегда в юбке до земли. В темных блузках либо свитерах. Иногда с платком на шее. В ушах маленькие сережки. Большая грудь. Я страшно любил смотреть на ее ягодицы, когда она шла на высоких каблуках. Видел-то я ее главным образом сзади. И мне все время хотелось узнать, какой у нее голос и как она пахнет.

Спустя месяц я решился. Это было в четверг. Я знал, что в четверг они никуда не уходят. В цветочном магазине я купил все ландыши, какие были. Я нажал звонок и внезапно почувствовал, что хочу убежать. Однако не успел. Открыла та элегантная женщина.

– Я мог бы поговорить с... – у меня совершенно вышибло из памяти все, что я намеревался сказать, – с...

– С Натальей? – с улыбкой подсказала она.

– Да, наверно. С Натальей.

– Я ее мама. Не можете. Но все равно входите. Наталья у себя в комнате.

Я не обратил внимания на ее странный ответ и вошел, пряча за спиной букет ландышей. Мать Натальи провела меня в большую комнату, на стенах которой висело множество картин. За письменным столом напротив окна сидела спиной к двери она, Наталья.

Она никак не отреагировала на то, что мы вошли. Мать быстро подошла к ней и встала перед столом, словно не желая испугать ее, и указала пальцем на меня. Наталья повернулась и взглянула. Ситуация была какая-то пугающе странная. Я не знал, что делать. Наталья сидела, глядя на меня. Молчала. Ее мать не вышла из комнаты.

– Это тебе. Ты любишь ландыши? – спросил я, протягивая ей букетик.

Наталья встала. Подошла ко мне. Взяла ландыши. Прижала их к губам. В этот момент к нам подошла ее мать и сказала:

– Наталья очень любит ландыши, но сказать вам это она не может. Она глухонемая.

Наталья смотрела на меня, все так же не отнимая букет от губ. Несомненно, она знала, что сказала мне ее мама. Несколько секунд я переваривал услышанное...

Знаешь, что я подумал? Что я подумал в этот необычный миг?

Я подумал: «Ну и что? Что из того, что она глухонемая?»

И я произнес:

– Несмотря на это, не могли бы вы на минутку выйти из комнаты и оставить нас одних? Очень вас прошу.

Она молча вышла. Мы с Натальей впервые оказались наедине. До меня все-таки по-настоящему не дошло, что она не может услышать меня.

– Меня зовут Якуб. После того как ты облила меня супом, я не переставая думаю о тебе. Мог бы я иногда встречаться с тобой? Ты не против?

Это так невыносимо грустно, что, должен признаться, я плачу, когда пишу тебе это. Это, наверно, из-за вина и Б. Б. Кинга, которого я сейчас слушаю. Three o'clock blues. Да, наверно, из-за этого. Пожалуй, у Б. Б. Кинга нет ничего печальней, чем этот блюз. Но, впрочем, мне хочется быть сейчас грустным. Блюз соткан из печали. Так тебе скажет любой негр в Новом Орлеане.

Наталья неподвижно стояла, глядя на меня. Она не помогала мне. Она никогда не помогала мне в разговоре. Во всем остальном – да. А в разговоре – нет. Я с первой минуты вынужден был непрестанно чувствовать, что она калека.

Я подошел к ее столу, нашел листок бумаги и стал писать.

«Зачем тебе это? – написала она в ответ, пылливо глядя мне в глаза. – Зачем ты хочешь встречаться со мной? Ты будешь приходить сюда, и мы будем вот так переписываться? Ты пригласишь меня в кино, а я даже не смогу тебе сказать, понравился мне фильм или нет? Ты пригласишь меня к своим друзьям, а я не произнесу ни слова? Зачем тебе это?»

Она плакала. И тут в комнату вошла ее мать.

– Знаете, вам, наверное, лучше пойти. Наталья сейчас должна уходить. Большое спасибо за ландыши.

Когда я выходил из комнаты, Наталья стояла спиной к двери.

На третий день после этого Наталья сидела в политехнической столовке на моем месте напротив окошка, где выдают супы. Она была одна. Я сел рядом с ней. Она протянула мне листок. Я прочел:

«Меня зовут Наталья. Я не переставала думать о тебе, с тех пор как облила тебя супом. Могли бы мы иногда встречаться?»

Пожалуй, я уже тогда был в нее влюблен. Месяц спустя я уже по-настоящему любил ее. Она была мне дороже всех, была самая красивая, самая отзывчивая. Единственная. Она угадывала мои мысли. Знала, когда мне холодно, а когда чересчур жарко. Читала книги, которые нравились мне. Покупала все только зеленое. Когда она узнала, что я люблю зеленый цвет, все у нее стало зеленое. Платья, юбки, ногти, макияж. И бумага, в которую она заворачивала подарки для меня. Она купила проигрыватель и пластинки, чтобы я мог вместе с ней слушать музыку.

Представляешь? Она покупала мне пластинки, которые никогда не могла услышать, и просила меня, чтобы я рассказывал ей музыку. Все должно было быть так же, как с любой женщиной, у которой все в порядке со слухом.

Она ждала меня около университета или политехнического института, чтобы первой узнать, как я сдал экзамен. И всегда все знала первая. Она была ужасно горда мною. И писала мне об этом.

Моя мама с ней не познакомилась. Она слишком рано умерла. А вот отец уже спустя месяц после их знакомства называл ее не иначе как «наша Наталка».

С ней все было просто и естественно. Однажды она пригласила меня на ужин. Купила российского шампанского. Ее матери в ту ночь не было дома. Она поставила пластинку. Ушла на минуту в ванную и вернулась в прозрачной блузке. Лифчика на ней не было. Она подошла ко мне и рядом с бокалом с шампанским положила записку:

«Якуб, ты доводишь меня до смеха, доводишь до слез. А сегодня я весь вечер думала, что в последнее время я больше всего хочу, чтобы ты довел меня до оргазма».

Трусики она тоже сняла. Она была неистова. Прикосновение действовало на нее совершенно по-другому. Она давала мне целовать и сосать обе свои руки. В ту пору она все делала губами.

Она умела губами или подушечками пальцев нежно касаться моей кожи миллиметр за миллиметром. Могла сосать один за другим пальцы моих ног. И доводила меня этим до неистовства. Она всегда просила меня, хоть это и абсурдно, ведь она же ничего не слышала, шептать – именно шептать, а не говорить, – что я чувствую, когда мне особенно хорошо. В сущности, я все время шептал.

Ради нее я научился стенографировать. Это было просто. Я был лучшим студентом в группе. Кстати сказать, стенография оказалась полезной и на лекциях. Вот только однокурсники мои были не слишком довольны. С тех пор как я стал стенографировать, они не могли пользоваться моими лекциями.

Потом на специальных курсах я учился языку глухонемых. Целый год, показавшийся мне бесконечным. Помню, однажды я пришел к ней, и вот после ужина мы остались вдвоем в комнате. Я встал перед ней. Указательными пальцами обеих рук два раза под ключицы. Потом этими же пальцами дважды в направлении собеседника. Она расплакалась. Упала передо мной на колени и плакала. Два раза под ключицы. Два раза в направлении собеседника. Это так просто. «Я люблю тебя». Два раза под ключицы...

Мы даже различались очень красиво. Она не соглашалась с моим культом науки. Считала, что можно быть умным, не прочитав ни одной книжки. И в то же время втайне от меня читала те же самые книги, что я, чтобы быть в курсе и иметь возможность дискутировать со мной. Она якобы не находила ничего замечательного в математике, однако провоцировала меня доказывать ей, что она не права. Главным образом потому, что она открыла, что я страшно люблю переубеждать ее и красоваться перед ней. В ее дневнике, который потом попал мне в руки, были аккуратно вклеены под соответствующими датами все мои записки, заметки, клочки бумаги с математическими уравнениями или теоремами, которые я ей объяснял. На некоторых листках поверх интегралов, уравнений и графиков были отпечатки ее губ.

Когда я с ней познакомился, она жила с матерью. Ее родители развелись, когда ей было 9 лет. Он – астроном по образованию, а по месту работы чиновник в городском комитете партии, куда он перешел, когда ему не удалось закончить аспирантуру в установленный министерскими положениями срок. Она – реставратор, причем настолько выдающийся, что, несмотря на «провинциальность» Вроцлава, именно ее Министерство культуры сделало своим экспертом и консультантом.

Они как раз начали строить дом. Их богатство и успехи не вызывали нормальной и искренней польской зависти. Им можно было иметь чуточку больше, чем другим. В компенсацию за глухонемую дочку.

Они были спокойной, гармоничной супружеской парой. До того самого дня, когда он пришел домой пьяный, замкнулся с матерью Натальи в комнате и объявил ей, что на самом деле он хотел бы жить в их новом доме не с ней, а с Павлом, коллегой по службе, которого он любит и рядом с которым хотел бы засыпать и просыпаться по утрам. Наталья помнила только, что мать выбежала из комнаты и на бегу ее рвало. В тот же вечер отец Натальи ушел из их квартиры.

Представляешь, как он должен был любить этого Павла, чтобы прийти и сказать об этом жене? В те времена? Да еще в такой стране, как Польша? Он, партийный работник? Партийные работники по определению должны быть гетеросексуальными. И хоть в «Капитале» на сей счет не написано ни слова, но это и без того очевидно. Классово очевидно. Партийный секретарь не может быть педом. Он может быть педофилом, но не педом. Педиками бывают только ксендзы и империалисты.

Она могла уничтожить его. Выскоблить его самого бритвочкой из истории, но что еще хуже, убрать его номер из телефонных книжек всех сколько-нибудь значительных людей города. Для этого было достаточно одного звонка в городской комитет. Но она этого не сделала. Несмотря на ненависть, унижение, боль оставленной женщины и, вне всяких сомнений, жажду мести.

Знаешь, я и сейчас еще поражаюсь ему. Вне зависимости от того, что Наталья сильно страдала от его поступка, я поражаюсь его верности себе.

Мать так никогда и не сказала Наталье, что в действительности произошло, почему они разошлись с отцом. Правду она узнала от него. Он поведал ей все в один из сочельников. Она вышла вынести мусор, было уже темно. И тут она увидела его, пьяного, дрожащего от холода, на скамейке около помойки. Он сидел с бутылкой водки и смотрел на окна их квартиры.

Мать воспитывала ее без посторонней помощи. Ни разу она не произнесла ни одного худого слова про отца. Ни разу не попыталась помешать ее встречам с отцом. Но ни разу и не согласилась на то, чтобы он пришел к ним в дом.

Когда ее брак рухнул, Наталья стала для нее единственной целью жизни. Если бы она была уверена, что, дыша, отнимает у Натальи кислород, она научилась бы не дышать и уговаривала бы других последовать ее примеру. Трудно было любить Наталью при такой матери. Она смирялась с моим существованием, как смиряются с гипсом на сломанной ноге. Без него не обойтись, но все пройдет и все станет как раньше, без гипса. А пока придется потерпеть и на некоторое время постараться раздобыть костыль.

Но я «не проходил». Я отнимал у нее Натку, Натуню, Наталку, Наталеньку... Кусочек за кусочком. Так ей казалось. Но это было неправда. Как-то она уехала на две недели для реставрации архитектурных памятников Таллина. Я все это время был рядом с Натальей, но она время от времени хлюпала носом, скучая по матери.

С самого первого дня Наталья описывала мне свой мир. Именно описывала. Потому что она либо писала, либо пользовалась стенографией. Она писала всюду. На листках бумаги, которые всегда носила с собой, мелом на полу и на стенах, губной помадой на зеркале или на кафеле в ванной, а то и палкой на песке пляжа. Ее сумочка и карманы вечно были заполнены тем, что можно

использовать для письма. Я не знаю того, что она не смогла бы описать.

Видела она гораздо больше. Прикосновение могла описать цветами, их оттенками либо интенсивностью. Не способная слышать реальный мир, она воображала, как могут выражаться звуки падающих из кухонного крана капель, смеха или плача ребенка, вздоха, когда она меня целует. Своими описаниями она творила совершенно иной мир. Куда более прекрасный. Через некоторое время и я стал воображать себе звуки. Главным образом на основании ее описаний и чтобы «слышать» так же, как она. Я думал – через некоторое время это стало у меня навязчивой идеей, – что когда так произойдет, тот факт, что она не слышит, станет всего лишь ничтожной помехой.

Я прямо-таки надоедал ей просьбами рассказывать, как она воображает себе звуки. Спустя несколько месяцев после нашего знакомства как-то вечером в один из тех дней, когда кто-то из так называемых слышащих снова обидел ее, а я, не обращая внимания на ее настроение, попросил описывать звуки, она раздраженно отказалась, нервно написав стенографическими знаками на зеркале в ванной:

«Зачем тебе эти дурацкие описания больного воображения неполноценной глухонемой истерички на инвалидной пенсии, которую может унижить любой хам только лишь потому, что ему кажется, будто он во много раз лучше меня, поскольку слышит?»

И по мере того как она нервно писала, знаки становились все более неразборчивыми, точь-в-точь как все невнятной становится голос человека, который кричит, выражая обиду и отчаяние. Я помню, как подошел к ней и прижал ее к себе. Потом смыл губкой с зеркала ее надпись и тем же маркером написал, для чего мне эти описания и как они мне важны. Она, прильнув ко мне, плакала, как ребенок.

Знаешь ли ты, что глухонемые плачут точно так же, как люди, которые нормально слышат и говорят. Они издают совершенно те же самые звуки. Должно быть, плач, вызванный страданиями или радостью, был первое, что выработали люди. Еще до того, как научились говорить.

С того дня она записывала для меня в особой тетради свои представления о звуках, а я заучивал их, как стихи. Наизусть. Я никогда так и не узнаю, удалось

ли мне выучить хотя бы самые главные.

Когда я ехал в автобусе, я представлял в соответствии с ее описанием звук закрывающихся дверей и на следующей остановке сравнивал его с действительным. Сидя в столовке, я старался предвидеть и описать языком Натальи грохот бросаемых в металлические тазы ножей, ложек и вилок еще до того, как потная баба притащит ведра с ними из смрадной мойки. А ты знаешь, Наталья, как все, сидящие близко, морщила лоб и прижмуривала глаза, когда ножи и вилки с грохотом сыпались в тазы.

Проходя по парку, я сравнивал мое воображение о его звуках с тем, что слышал в действительности. Особенно я это чувствовал именно в парке. Наталья – хотя никто, включая и родителей, в точности не знает, когда она оглохла, – должно быть, слышала эти звуки. И запомнила! Ее описания с невероятной точностью совпадали с действительностью.

Звуки, голоса, звуковые волны, физика их возникновения, принципы их приема, механизмы их сохранения стали наряду с математикой и философией темой моих исследований и изучения. На лекции по акустике я ходил и в политехнический, и в университет. Я стал обнаруживать, что мы погружены в звуковой эфир, и, если говорить правду, тишина – это представление поэтов, писателей и глухонемых. Тишины не существует. Где нет пустоты, то есть всюду там, где можно дышать и есть движение, тишины нет.

Я прочитал все о человеческом ухе, знал функции, строение и возможные болезни каждого его участка. Я побывал у двенадцати ларингологов, специализирующихся на аудиологии, во Вроцлаве и трех в Варшаве. Ко всем им я обращался как человек, внезапно утративший слух. Четверо из них были профессорами. И знаешь, что я установил? Быстрее всех распознавали во мне симулянта те, кто недавно закончил медицинский. От них я больше всего и узнал.

Ты обратила внимание, что уши, так же как почки, легкие и глаза, – органы парные?

Помню, во время визита у одного ларинголога в Варшаве, уже после того, как стало ясно, что я примитивно симулирую, я спросил о пересадке уха. Я думал, что мог бы отдать Наталье одно мое ухо, потому что слышать можно и одним. Но

он высмеял меня и вообще отнесся как к психически больному. И представляешь, недавно я прочел в Laryngology Today – интерес к звукам сохранился у меня до сих пор – статью этого варшавского врача о возможности пересадок практически всех важных фрагментов уха.

Я верил, что Наталья когда-нибудь снова будет слышать, как дети верят, что когда-нибудь они станут взрослыми. Это всего лишь вопрос времени и терпения.

И однажды это время пришло. Без фанфар и предупреждений. Незаметно, прозаически и случайно. Я занимался – в основном ради денег – организацией через институтский «Альма-тур» съездом Польского хирургического общества. Гостиницы, залы для заседаний, экскурсии по городу. Ничего особенного. Обычный организационный и туристический стандарт. Несколько сотен злотых в дополнение к стипендии.

Для меня хирурги – это бесспорная элита медицины. Художники. На мой взгляд, у них гораздо больше извилин в мозгу по сравнению с другими врачами, а кроме того, они являются обладателями демонических рук, от которых зависит жизнь или смерть. Так что нет ничего удивительного в том, что в Польше из всех не вылезающих из стрессов врачей хирурги гораздо чаще умирают от цирроза разрушенной алкоголем печени, впадают в зависимость от всевозможных опиатов или попросту, когда уже совсем не в силах выбраться из депрессии, скальпелем взрезают себе вены. Так было тогда, в доисторические для тебя времена военного положения, и так продолжается и сейчас. Хирурги разрушают печень тем же самым спиртным, а у них всегда были доллары на «Певекс»[4 - «Певекс» – в ПНР система магазинов, торговавших дефицитными западными товарами за свободно конвертируемую валюту, аналог существовавших в СССР магазинов «Березка».], либо «Певекс» сам приходил к ним в сумках пациентов, опиаты всегда были и есть под рукой, ну а ежели нет, не секрет, где находится ключ от того самого «стеклянного шкафа», а венам абсолютно все равно, взрезают их скальпелем из гэдээрковского Дрездена или из Франкфурта-на-Майне, куда после падения стены перенесли эту дрезденскую фабрику, уволив попутно три четверти рабочих. «Богатые» хирурги в нынешней Польше статистически в этом смысле ничем не отличаются от «бедных» хирургов в ПНР.

Вечером первого дня съезда состоялся так называемый бал хирургов. Именование этой пьянки балом было провокативным и, пожалуй, эксцентричным преувеличением. Ни на одном съезде я не видел столько водки. По причине своих политических убеждений я, естественно, не бывал ни на каких настоящих

«съездах», но все равно я не могу поверить, будто у членов партии печень лучше и что они способны выжрать больше спиртного.

К тому же бал, по крайней мере для меня, ассоциируется с женщинами. А вот для хирургов нет. Из заявленных почти 800 участников съезда женщин было всего лишь шесть. Приехали же только две, а хирурги не привозят с собой на съезды – этому их и даже дантистов учат еще на первом курсе – ни жен, ни любовниц, ни невест. Рядом с ними невозможно пить без угрызений совести до самого утра. Это я узнал от хирурга, кстати сказать, трижды разведенного, который на этом балу сидел за одним столом со мной.

Я представлял организаторов. То есть следил главным образом за тем, чтобы водка была охлажденная и чтобы на столах она не иссякала. Такова была договоренность. Когда трижды разведенный хирург напился вдупель еще до подачи горячего и рассматриваться как партнер для разговора уже не мог, я огляделся вокруг. Оказалось, что за нашим столом сидел пожилой мужчина, почти старик, с серебристо-белыми кудрявящимися волосами и водянистыми серыми глазами за очками в толстой черной оправе, склеенной в одном месте коричневой липкой лентой. В слишком тесном вытертом костюме неопределенного цвета и зимних ботинках, хотя дело происходило в исключительно жарком июле, он был похож на украинского крестьянина, который нарядился на свадьбу единственной дочери во все, что у него есть самого лучшего. Рядом со стариком сидела одна из тех двух женщин, что приехали на съезд. Вскоре выяснилось, что она никакой не хирург, а вовсе даже личный переводчик и секретарь этого старичка. А тесный костюм вводил в заблуждение. Старичок был вовсе не украинским крестьянином, а знаменитым хирургом и нейрохирургом из Львова. Почетным гостем этого съезда. И в первой половине дня, до того как прийти выпить на этом балу с польскими коллегами, он был удостоен звания доктора honoris causa самого крупного медицинского института Польши.

Каждую минуту к старику подходили люди. Я с изумлением убедился, что пьяные польские хирурги способны в один миг протрезветь и с глубочайшим вниманием слушать своего знаменитого коллегу. Выслушав, они пожимали ему руку и отходили. Мне это напомнило сцену из «Крестного отца», где Дон Корлеоне пожимает руки членам своей мафии. Даже голос у него был похожий – такой же хриплый и слабый, как у Марлона Брандо.

И вдруг я услышал, как переводчица выпалила буквально одним духом:

– Врожденная глухота в большинстве, а может, и во всех случаях связана с повреждением центральной нервной системы, а конкретно структур, отвечающих за преобразование звуковых волн в электрические сигналы.

И она добавила – небрежно, словно речь шла о ремонте мотоцикла:

– Но мы во Львове с этим справляемся без проблем. Мы используем, то есть профессор использует, имплантат улитки. Это такое устройство для регистрации звуковых волн на уровне центральной нервной системы, но есть одно условие: аппарат, проводящий звук, то есть наружное и среднее ухо, не должен быть поврежден. И тогда... – Она внезапно прервалась, повернулась ко мне и с испугом и возмущением визгливо закричала: – Извините, но вы мне больно сжали руку. Что вы себе позволяете?

– Ради бога, простите. Но вы сказали такое, что я утратил контроль над собой. Еще раз прошу меня простить. Не могли бы вы повторить, что вы во Львове имплантируете? – спросил я, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие.

Она отодвинулась от меня как можно дальше и сказала:

– Вам я ничего не собираюсь говорить. Можете сами спросить у профессора.

Было четыре часа утра, когда я вылетел из университетской аудитории, в которой происходил этот «бал». Мать Натальи открыла, только когда я начал уже колотить в дверь ногами. Наталья с испугом взглянула на меня, когда я ворвался к ней в комнату, зажег свет и разбудил ее. Я сел на край ее тахты.

Тебе никогда не понять, как бывает, когда хочешь кому-то рассказать что-то страшно важное и не можешь!

Я прижимал Наталью к себе, целовал ей руки и говорил об имплантате улитки, о том, что она будет слышать, что я познакомился с самым крупным специалистом, что американцы тоже туда приезжают, что имплантаты из Японии, что потом ей останется только научиться говорить, что я безумно люблю ее и что она это скоро услышит, что у нас будут дети, которые тоже услышат, когда я им буду рассказывать о своей любви к ней, и что я вовсе не пьяный.

Мать Натальи сидела по другую сторону тахты напротив меня и плакала. Наталья, не понимая, в чем дело, испуганно смотрела то на мать, то на меня. И вдруг мать Натальи вскочила и стала знаками объяснять, что произошло. Никогда до сих пор она не делала это так быстро и так агрессивно. Это поистине было похоже на крик. Думаешь, на языке жестов нельзя кричать?

Я взял с письменного стола у окна папку с бумагой для рисования, разложил несколько листов на ковре и принялся писать. Наталья ходила по комнате. Она смотрела на мать и читала то, что я писал на полу. Она была так красива с огромными от удивления и блестящими от слез глазами, взлохмаченными волосами, в просвечивающей, когда она приближалась к столу, где стояла настольная лампа, ночной рубашке, которую, казалось, распирала ее большая, высокая грудь. Даже в такой момент я не мог, глядя на нее, не испытывать желания.

В 8 утра я стоял у кабинета отца Натальи. Он почти не разговаривал со мной. Узнав, в чем дело, он указал мне на кресло, подал нераспечатанную пачку сигарет и стал звонить. Руки у него ходили ходуном от волнения. Порой ему было трудно набрать правильно номер. Я сидел в кресле напротив него и разглядывал кабинет. Всюду были фотографии Натальи.

Он все устроил. Направление из Министерства иностранных дел вместе с рекомендательным письмом министра здравоохранения, служебный заграничный паспорт, чек на получение валюты в сумме, двадцатикратно превышающей тогдашний годовой лимит, а также «распоряжение о госпитализации на отделение» с подписью какого-то важного партийного бонзы из Львова.

Через одиннадцать дней Наталья выехала во Львов с Восточного вокзала в Варшаве. На вокзале мы были за два часа до отправления поезда. Я курил сигарету за сигаретой, она была счастлива. И только мать Натальи была на удивление грустна и все время осматривалась вокруг.

У меня кончились сигареты. Я побежал к киоску на соседнем перроне. На скамейке за ним сидел отец Натальи. Меня он не заметил.

Когда поезд исчез за поворотом, мать Натальи взяла меня под руку, и мы пошли по перрону к спуску в туннель. Когда мы уже были в туннеле, она вдруг

остановилась, подняла мою ладонь и коснулась ее губами. Она не произнесла ни слова, только смотрела мне в глаза. Мы так стояли несколько секунд.

Операцию Наталье должны были делать через две недели. Ее отец ежедневно звонил во Львов в клинику. Потом он перезванивал мне, а я – матери Натальи. Между собой ее родители так и не разговаривали.

Странное это было чувство – знать, что, возможно, Наталья стоит у телефона, но поговорить с ней нельзя. Чувство бессилия.

Наталья писала письма. Каждый день по три письма: матери, отцу и мне.

Она писала чудесные письма. Я это знаю точно. Ее мать читала мне каждое полученное ею письмо. Дважды. Один раз по телефону, сразу после того, как вскрывала конверт, а потом еще раз вечером за ужином. Я каждый вечер бывал у нее.

Я же прочитал ей всего одно письмо. Точней сказать, не прочитал – продекламировал. И то только через три года. Я знаю его на память. И никогда не забуду.

Никогда.

«Якуб, милый!

Я так по тебе скучаю, что у меня даже в ушах шумит. Представляешь? У меня, у глухой, шумит в ушах, оттого что я скучаю по тебе. Я не могу с этим совладать. Ты был всегда. Просто пришел с улицы, и так стало. Ты был всегда, с тех пор как я люблю тебя. Но и прежде тоже. Потому что никакого «прежде» до тебя не было.

Знаешь, я всегда немножечко скучала по тебе, даже когда ты был рядом со мной. Скучала как бы чуть-чуть про запас. Чтобы потом, когда ты пойдешь домой, не так сильно скучать. Но это все равно не помогало.

Говорила ли я тебе, что, когда я стану слышать, я первым делом научусь произносить твое имя? На всех языках. Но прежде всего по-русски.

А когда я вернусь, то сяду к тебе на колени, положу руки тебе на плечи и буду целовать твое лицо. Сантиметр за сантиметром. Обещай, что не разденешь меня, пока я все его не исцелю.

До операции осталось всего только два дня. Я жду. Это такое торжественное ожидание. Я чувствую себя так, будто приближаюсь к посвящению в очередную тайну.

Якуб, милый. Ты ведь понимаешь, что я даже не пытаюсь описать, как я тебе благодарна. Потому что это невозможно описать. Хотя ты знаешь, что я умею описать все.

Тут нет ни одного костела. А мне так хотелось бы помолиться. Но я все равно молюсь. Я взяла у мамы маленький деревянный крестик. Теперь кладу его на подушку и молюсь перед ним, но мне хочется перед операцией хотя бы раз помолиться в настоящем костеле. Наверно, Бог знает, что делает. Нашел же Он мне тебя.

Как ты думаешь, я не оглохну от хаоса звуков, который обрушится на меня, когда я стану слышать? Не смейся, меня вправду это беспокоит.

Меня перевели в другую палату. Не знаю почему. В той было очень славно. Нас было шестнадцать женщин, и там стояли двухъярусные кровати. Я никогда раньше не спала на втором ярусе.

А сейчас я в двухместной палате. Это, наверное, отец постарался. Тут в двухместных палатах лежат только те, у кого родители важные шишки либо они сами важные шишки.

Я в одной палате с мужчиной! Его зовут Витя, и ему 8 лет. Витя тоже не слышит с рождения. Приехал он сюда из Ленинграда. Он чудесный мальчик. Маленький блондин с живыми глазами. Он немножко похож на тебя с той фотографии, где тебе 9 лет и ты стоишь с родителями и братом.

Мы с Витей рассказываем друг другу разные истории. Понятно, знаками. Знаешь, Витя объясняется знаками по-русски. Некоторые знаки у них совсем другие. Так что я заодно учусь у него русскому.

Мы с Витей часто гуляем во дворе перед бараками этой больницы. Там большущие экскаваторы копают глубокую яму.

Я никогда еще не видела ничего подобного. Эти экскаваторы похожи на заржавевшие танки, у которых стволы пушек заменили ковшами. Но вообще тут все как на старых фотографиях моего дедушки. А экскаваторы копают котлован, потому что тут собираются строить новое здание клиники. Так сказал нам профессор. Профессор стыдится этих бараков и ждет не дождется, когда будет построена новая клиника.

Витя любит забираться в эту яму. А я делаю вид, будто не знаю, где он, и ищу его.

Еще только два дня до операции. Это будет пятница. Я как раз выяснила, что ты родился в пятницу. Это будет опять счастливая пятница, правда ведь, Якуб?

Я люблю тебя.

Наталья.

P.S. Вдруг так тихо сделалось в моем мире без тебя».

Утром в пятницу я перед институтом зашел в костел. А потом весь день у меня были занятия. Вечером я должен был быть у матери Натальи. Я выбежал из института и помчался к автобусной остановке. Перед въездом на паркинг стояла черная «Волга». Передняя дверца ее была открыта, на сиденье рядом с водителем сидел отец Натальи и курил. Он увидел меня. Бросил окурочок на асфальт, встал, поправил галстук и пошел ко мне. Подойдя, остановился и, стоя буквально в нескольких сантиметрах от меня, произнес совершенно чужим, неестественным голосом, как будто в сотый раз повторял заученную формулу:

– Сегодня утром Наталья умерла. Вчера во дворе клиники на нее наехал экскаватор. Мальчику, которого она пыталась оттолкнуть, чтобы экскаватор не задавил его, придется ампутировать обе ноги. Он не заметил экскаватор, а услышать его не мог. Экскаваторщик, когда это все произошло, был пьян. Его ищут со вчерашнего дня.

Я больше не мог этого слышать. С какого-то мгновения каждое слово, которое он произносил, было как удар камнем по голове. Я рукой затыкал рот. Он пытался говорить дальше, кусал меня за руку. А когда он высвободился, я побежал от него. И только слышал, как он кричит мне вслед, и крик его был похож на вой:

– Якуб, погоди... Якуб, не убегай... Не делай этого... Не оставляй меня одного, умоляю тебя. Ее нужно привезти оттуда. Я это не смогу... Якуб, сволочь...

Помню, в детстве, когда кто-нибудь во дворе обижал меня, я мчался домой. И снова было как в детстве. Когда отец открыл мне дверь, я прижался к нему. Он ни о чем не спрашивал меня. Да, было как в детстве. Боль чуть утихла.

– Наталья погибла, – прошептал я ему в плечо.

– Сынок...

В ту ночь я понял, почему отец пил, когда умерла мама. В ту ночь водка была как кислород. Снова можно было дышать.

Утром я стоял у дверей квартиры Натальи. Мне открыла молодая женщина в шапочке медсестры.

– Хозяйки нет дома. Придите, пожалуйста, через несколько дней, – сказала она мне.

И в этот момент за спиной у нее появилась мать Натальи. Она была совершенно седая. За эту ночь она поседела.

Медсестра захлопнула дверь. Сбегая по лестнице, я услышал душераздирающий крик.

Внизу меня ждал в такси отец.

– Ты должен привезти ее тело. У тебя еще два часа, чтобы купить в банке рубли. Туда без рублей не въедешь. Звонил отец Натальи.

Это был маленький банк на окраине Вроцлава. Кассовый зал, до предела наполненный табачным дымом. Несколько раз заворачивающаяся очередь к одному-единственному открытому окошку. У стены металлическая пепельница на железной ножке, набитая окурками.

За стеклом сидел молодой жирный кассир. Он все время жрал бутерброды, которые доставал из серого промасленного бумажного мешка, лежащего рядом с калькулятором. На стол, за которым он сидел, у него изо рта падали крошки сыра и помидора. Через час подошла моя очередь.

– Рублей нет, – невнятно пробурчал он, проглатывая очередной кусок бутерброда. – Рубли у нас бывают по понедельникам и средам. Так что приходите в понедельник.

– Понимаете, я не могу в понедельник. У вас должны быть рубли. Мне нужно получить их до воскресенья.

Он удивленно воззрился на меня и демонстративно громко произнес, и куски непроглоченной булки летели у него изо рта в стекло, отделяющее его от меня:

– Я никому ничего не должен. А если вам так спешно и вы желаете получить русские деньги до воскресенья, то можете обменять доллары. Они их с удовольствием принимают.

Он триумфально смеялся и смотрел на очередь в надежде, что она тоже разделит его ликование. Однако никто в очереди не засмеялся, словно все предчувствовали, что произойдет через несколько секунд.

Я сунул руку в щель между стеклом и стойкой, пытаюсь схватить его. Удивленный, он резко отпрянул. Потом я уже не владел собой. Я отошел от окошка, спокойно подошел к пепельнице, схватил ее и изо всех сил ударил массивным основанием по стеклу, за которым сидел кассир. За спиной я

услышал крик. Кассир давился булкой, когда я изо всех сил сдавливал ему горло. Мне безумно хотелось убить его.

Не помню, что было потом. Вспоминаю только, как, скованный наручниками, я ехал в милицейской «Нисе», рыжий веснушчатый «мусор» охаживал меня дубинкой, а я плевал кровью на железный пол.

Меня выпустили через 48 часов. Обвинили меня во всем, в чем только можно: в попытке поджога общественного здания, нападении на служащего государственной администрации, взломе, а также в попытке отнять валюту. Сначала меня вышибли из университета, а через две недели и из политехнического.

Наталья прилетела через неделю. Никто за ней не поехал. Ее отец лежал без сознания в больнице. На другой день, после того как он сообщил мне о смерти дочери, он пьяный шел по трамвайным путям домой. Около трамвайного парка из-за поворота выехал первый утренний трамвай. Вагоновожатый заметить его не мог. Свидетели говорили, что, когда трамвай ехал прямо на него, он даже не пытался убежать.

Обычно трупы привозят в специальных цинковых гробах. Это записано даже в Конвенции прав человека ООН. Наталья же прилетела в холодильнике, в котором в самолетах обыкновенно хранят пластиковые коробки с ужином, что подают пассажирам вечерних рейсов. Из холодильника вынули решетчатые металлические полки и поместили в него тело Натальи. Во Львове для нее не нашлось цинкового гроба, а отец ее лежал в больнице без сознания и не мог позвонить какому-нибудь тамошнему начальнику, чтобы поискали.

На кладбище я пошел через несколько часов после похорон. Там уже никого не было. Могильный холмик из желтого песка был весь закрыт венками и букетами цветов. Я стоял и смотрел на белую табличку с ее именем и фамилией. Слез у меня уже не было. Я думал о том, как вынести молчание Бога. Внутри у меня была пустота. На кладбище я пришел без цветов. Мне было все равно. И никаких во мне не было чувств, кроме злобы по отношению к Богу. Но так мне только казалось. Я бросил взгляд на могилу и на венки. Самый большой лежал около креста. На черной ленте я прочитал надпись золотыми буквами: «Ты ведь знаешь, что ты не ушла. Любящие тебя мама и Якуб».

Бывают такие моменты, когда боль до того сильна, что невозможно дышать. Природа придумала хитрый механизм и неоднократно испытала его. Ты задыхаешься, инстинктивно пытаешься справиться с удушьем и на миг забываешь о боли. Потом боишься возвращения удушья и благодаря этому можешь пережить горе. Там, возле могилы, я не мог дышать. Там это случилось со мной впервые.

Удушье – это не единственный отвлекающий механизм. Второй – физическая боль. Но ее ты должен сам причинить себе. Это не должна быть ежедневная боль, сопутствующая отчаянию. Не та, что начинается сразу после пробуждения и которую чувствуешь во всем теле – от кончика ногтя на большом пальце ноги до кончиков волос на макушке. Это должна быть совсем другая боль. Контролируемая и четко локализованная. Причиненная лезвием бритвы или горячей сигаретой. При этом ты замещаешь свое внутреннее страдание физической болью, которую можно локализовать. И тем самым ты перенимаешь над ней контроль.

Потом, в последующие месяцы, мне казалось, что я живу в наказание. Я ненавидел утра. Они напоминали мне, что у ночи бывает конец и что нужно вновь как-то справляться со своими мыслями. Со снами все-таки было легче. Бывало, я неделями не вылезал из постели. А если все-таки вылезал, то для того только, чтобы проверить, действительно ли отец унес из дома всю водку. Иногда мне становилось так плохо, что отец ночью бежал куда-то, где тайно продавали спиртное, приносил бутылки, и мы пили. Тогда я еще не знал названия этому. Теперь-то мне известно: я впал в страшную, гигантскую депрессию.

Отчаяние я превратил в философию. Все, что не было трагическим, безнадежным, душераздирающим, было абсурдно. Абсурдом, например, было есть, чистить зубы, проветривать комнату. Отец мой делал все, чтобы вытащить меня из этой ямы. Первым делом он взял неиспользованный за два года отпуск. Потом отказался от ночных дежурств, чтобы все время быть рядом со мной. Он делал такое, что мне и в голову не пришло бы. Втайне разбавлял водку водой, чтобы я пил, но не так пьянел, брал в библиотеке книги и часами читал их мне, не спрашивал о моих планах на будущее.

Состояние удушья стало повторяться. У меня была астма. Психосоматическая, искуснейшим образом возвращенная мозгом астма. Бывали у меня также состояния страха. Поначалу я боялся, что задохнусь. Потом боялся, что задыхаюсь слишком редко и что, наверно, как-нибудь настанет окончательный

приступ удушья. Потом уже боялся всего. Я просыпался ночью и боялся. Не могу даже сказать чего. Просто лежишь с широко раскрытыми глазами и обливаешься потом от страха, трясешься от страха и не знаешь, кого или чего ты боишься. С какого-то времени в моей комнате никогда не гасился свет. Иногда я мог заснуть, только если около моей кровати сидел отец.

Примерно через полгода после одной из ночей, во время которой я запивал антидепрессанты водкой, покрашенной, чтобы успокоить отца, лимонадом, я проснулся под респиратором, привязанный к кровати кожаными ремнями. Привез меня сюда отец, который уже не мог смотреть, как я чахну, травя себя всем, что хотя бы на минуту способно пригасить боль и горе. Во время дежурства он загрузил меня, бесчувственного, в свою карету «скорой помощи» и привез в эту психиатрическую больницу.

Представляешь, что он чувствовал при этом?

Официально я приехал сюда на детоксикацию. Маленький гнусный барак с ржавыми решетками на окнах, находящийся на дальней окраине Вроцлава. Кроме горсти разноцветных таблеток утром и вечером, больше всего – должен тебе признаться, хоть я и испытываю от этого стыд, – лечили меня трагедии и описания страданий других людей. Благодаря этому внезапно все то, что случилось со мной, обрело свое место в общей системе. Оно уже не заполняло всецело пространство и мой мозг. Неожиданно наружу вновь прорвались сострадание, жалость и осмысленность существования. В той трясине уныния, абсурда, ненависти и обиды на мир это было как веревка, держась за которую можно было понемножку, постепенно подтягиваться и выбираться наверх.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Воячек Рафал (1945–1971) – польский поэт. Его катастрофическая поэзия, в которой он экспрессионистскими средствами выражает трагическое неслияние человека и мира, болезненную замороженность смертью и сексом, а также самоубийство в возрасте 26 лет сделали его культовой фигурой уже для нескольких поколений молодых поляков. (Здесь и далее прим. пер.)

2

Знаменитое итальянское белое вино.

3

Рыба с жареной картошкой (англ.).

4

«Певекс» – в ПНР система магазинов, торговавших дефицитными западными товарами за свободно конвертируемую валюту, аналог существовавших в СССР магазинов «Березка».

----

Купить: <https://telnovel.me/yanush-vishnevskiy/odinochestvo-v-seti-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)